

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ЮНОСТЬ

YMCA-PRESS
ПАРИЖ

Вере Алексеевне Зайцевой

БОРИС ЗАЙЦЕВ

Ю Н О С Т Ь

YMCA-PRESS

ПАРИЖ

Tous droits réservés.
Copyright 1950 by YMCA-Press.
Société à responsabilité limitée. Paris.

I

Балыковская глушь нижегородская, зима. Дом занесен снегом, у балкона звездочки следов — ласка пробежала вороватая, прогарцовал зайчик. В дальнем углу покачивается на репее овсянка, выклеывая зерна. Хладное серебро сыплется со стебля. На главной клумбе полузавейный невысокий столб, сверху розовый стеклянный шар — уродливо отражает он окрестность. Бело кругом, чисто, тихо. По саду, по сосновому парку пройдешь только на лыжах — но какого кристального воздуха наглотаться!

Отец выстрел и пустил новую домну. Козла не посадил, все обошлось благополучно. Домна славно выплавляет чугуны, отец живет в теплом доме однообразно-покойно, ходит на завод и в контору, ездит в Илев, постреливает зайцев по пороше, после обеда спит в кабинете. Вечерами читает или точит на токарном станке перечницы, деревянные подсвечники.

Из окна матери видна та самая узенькая, стройная голубятня, которую писал Глеб акварелью. «Миленькая картинка» висит над кроватью. За голубятнею огород, другой дом в глубине — все замыкается столетними соснами саровскими, они гудят слабо, вечным, стеклянным тоном.

Мать подолгу сидит здесь — кроит, шьет... — мало ли еще что делает? Поглядывает на глебову картинку. Да если бы и не глядела, все равно о нем думала бы. Как не думать о сыночке? Началась разлука, более чем когда-нибудь. Он студент, живет один в Москве, даже вот на Рождество не придет, какие-то зачеты, чертежи, проекты. Не до Балыкова. Лиза тоже в Москве. Учится в Консерватории. За нее менее страшно. А вот Глеб? Снял комнату в другой части Москвы («да, конечно, Императорское Техническое на Коровьем Броду, в Лефортове — иначе ему нельзя!»). Живет одиноко. Адрес такой странный: «Гавриков переулок». Положим, в Москве все довольно странное... разные Вшивые горки, Собачьи площадки. Вообще герунда. (Мать говорила также: герварь).

Да. И Глеб молодой человек. Такой возраст. Бог знает, куда попадет, в какую среду. Мало ли там, в столице, разных людей, кружков, студентов. Или встретит легкомысленную женщину, вдову. (Мать более всего боялась вдовы, которая может вполне окрутить сыночку).

После обеда она ложится на диванчик, но не спит, как отец, а просто лежит, думает, вздыхает — может быть на мгновение дремота по ней промчится — и опять соскочит.

К шести в столовую подают самовар. На потолке электрическая лампочка. В ней шестнадцать свечей. Она то сильнее светит, то слегка вянет, в ритме машины заводской. Но среди нижегородских снегов это такая роскошь!

Рыжеватая борода отца теперь с проседью. Он выходит несколько хмурый, с полосатую отлежанной

цеской, медленно пьет чай, курит, помалкивает. Мать мешает ложечкой в своей чашке.

— Надо бы послать сыночке еще пятьдесят рублей.

— Да ведь только что посылали?

— То за комнату и стол, но ведь ему надо и одеться, и в театр иной раз пойти.

Отец курит равнодушно. Денег ему не жаль, да и все равно, Глеб безнадежно забалован. Хорошо еще, что порядочно учится.

Подражая воображаемым немцам или чехам (отец любит развлекаться так), — отвечает:

— Зоглазна.

И погружается в «Русские Ведомости». Узнает о тверском земстве и об «оплотах реакции», о нижегородском губернаторе и прениях в Рейхстаге. (Там какой-то Рихтер вечно громит правительство).

Вечер идет тихо. Рихтер еще раз съездит, тверские земцы еще раз скажут свое благородство. Может быть, заглянет фельдшерица Синельникова, попросит у матери «Русское Богатство». А может, и никто не заглянет. Мать опять будет шить, читать бесконечный переводный роман («с датского») в «Вестнике Европы», а после ужина разложит пасьянс.

Попивая из большой кружки пиво, отец станет ее поправлять. Мать лишена чувства стратегии. Она аккуратно раскладывает карты, но рассчитывать не умеет. «Туза, туза закладываешь, разве так можно?» Отец болезненно морщится: точно его кто обидел. Мать подымает на него строгие, прекрасные и непонимающие глаза. «Хочешь портить ряд, так по крайней мере один, а не все». Мать иногда слу-

шается, иногда нет. И сурово поглядывая сквозь ценснэ (надевает его только для пасьянсов, чтения и шитья) — ведет безнадежную свою линию.

Зимний вечер переходит в ночь. На дворе вывезло, мороз. Бревна дома потрескивают. Лисы, зайцы поглубже зарываются в снег. В саровских лесах медведи Преподобного сосут лапу в берлогах, звезды раскаленно пламенеют над вековыми лесами, снега леденеют, воздух колок и вкусен как огненный напиток. Ночь идет, ночь идет над необъятным краем, уже Рождество близко, Орион сияет, Сириус ломит взор синим огнем своим.

В должный час гаснет в доме свет. И отца и мать, каждого в своей комнате, обымает тьма и они не слышат уже гула сосен, стрельбы дерева в дсме. Мать спит тонким сном, но в морозной этой ночи, слава Богу, не подозревает, что Глеб снял комнату именно у вдовы, и одинокой — Таисии Николаевны Милобенской.

**
*

Гавриков переулочек ничего общего не имеет с Пречистенками и Арбатом. Гоголь, Хомяков, Аксаков не бывали тут. Но когда осенью Глеб, выдержавши конкурсные экзамены в Императорское Техническое, проходил по этому переулку и увидел билетик на подъезде: «сдается комната», он менее всего думал о Москве поэтической и старинной. Какая там поэзия! Начинаются лекции, надо рано вставать, близко жить от Коровьего Брода, где Училище.

На звонок отворила дама лет тридцати пяти, скромного и приятного вида. Слегка робея показала

в глубине корридора комнату — сама жила в двух смежных. Все в небольшой, тихой квартире тускло-ватое, как бы подернутое кисеей и несколько меланхолическое. Но Глебу показалось: жить так жить! Да, пусть и тут, не все ли равно? Он сразу согласился. Дама же оказалась хозяйкою, той самой вдовой, которая могла бы окрутить сынсчку.

К вечеру из гостиницы Ечкина переехал сюда глебов чемодан. Глеб вынул и разложил книги, белье. Платье повесил в пустыннй шкаф — началась «новая жизнь».

Она состояла в том, что Глеб подымался в утреннем сумраке, умывался, старушка-Анфимьюшка подавала ему кофе, он его пил, а потом отправлялся на лекции.

Сумрачно, хмуро! Глеб идет переулками. Вот Немецкая улица, стголосоk времен петровских — а сейчас невысокие дома, мелкое купечество, трактиры, булочные. С нее свернешь в проулочек — и на небольшой площади, несколько пониже, к Яузе, огромное белое здание: Императорское Техническое, Технологический Институт Москвы.

Входить даже приятно. Светло, просторно, пахнет немного краской, лаком, слегка чем-то лабораторным (но бодрым). Снуют студенты, в таких же нарядных как у Глеба тужурках — на плечах золотые вензеля. Здесь встретит он и Сережу Костомарова из Калуги: вместе держали, вместе выдержали, поступили. Оба на химическое отделение. С прежнею жизнью Сережа — единственная связь. Все остальное новое. Нельзя сказать, чтоб и совсем неинтересно. Большие аудитории, кафедры, приборы, черные доски. Пробежит корридором профессор, пол-

ный, лысый, помахивая руками, странно покачивая туловищем. Вбежит на кафедру, начнет расписывать, разрисовывать по черной доске чертежи — механику — с видом полугениального маньяка. Сам будто летит по этим кривым, в значках алгебраических, закидывая назад голову, постукивая в доску мелом: вот оно тут все, поймал за хвост!

Юноши в тужурках за ним записывают. Глеб тоже. И никто не знает насколько этот рассеянный, не аккуратный, в смятых штанах, перепачканном вицмундире с перхостью на воротнике человек есть светило науки российской, изобретатель, предсказатель, утвердитель.

Химию слушают в другой аудитории. Тут окна в сторону Яузы, река не видна, но за ней лесистый подъем — парк Кадетского корпуса: старинные, желтоватые здания. За ними Анненгофская роща.

Приват-доцент химии не так же светилу, но читает отлично — высокий, прямой, в очках, с большим лбом, по интеллигентски откинутыми назад волосами — их можно во время лекции слегка поправлять. Ясно, толкливо, все понятно. Тон бодрый и твердый.

Во второй половине дня забираются в чертежную, тоже огромную. На листах ватманской бумаги, натянутой на доску, изображают разные подшинники, разрезы гаек, части машин. «Чтобы сделать хороший чертеж, надо быть в душе художником», говорил Глебу в Калуге путейский инженер. «Вы занимаетесь акварелью — весьма пригодится. Превосходно будете раскрашивать проекты. Профессора очень это ценят».

Может быть, насчет профессоров и был прав Александр Иванович. Но не насчет Глеба. Как раз

акварель с циркулем и нагоняла тоску. Нет, что же творить! Это не Левитан, не Репин, это будущий инженер-технолог. «Кончишь Техническое, получишь отличное место колориста где-нибудь в Иваново-Вознесенске».

Покорно благодарю! Неужели отец мог считать, что Глеба занимают ситценабивные фабрики, изучение красок, составление узоров для обоев?

Глеб унаследовал, однако, здравомысленность и отца и матери. Надо работать и зарабатывать — надо. И заглушая в себе не-здоровый смысл, вот покорно он ходит на лекции, чертит чертежи, готовится к зачетам.

Возвратившись с Коровьего Брода, обедает в небольшой столовой, отделяющей его комнату от Таисии Николаевны. В этой столовой висит портрет покойного ее мужа, в спальне другой, еще больше. В столовой пианино — там зеркальный шкаф, безупречное вдовье ложе под шелковым одеялом. Висит голубой фонарь, мелкие фотографии на комод, шкатулочки, искусственные цветы.

Глебу нравилось, что хозяйка приветливая и не надоедает разговорами. Вечером раздастся звонок — это Сережа Ксостомаров — она сама otvorит, слышен ее негромкий голос: «Да, пожалуйста, дома. Осторожнее в коридоре, Анфимьюшка опять не зажгла лампочки» — и шаги Сережи, такого же основательного, как и сна. Вот это и есть знаменитая «студенческая жизнь»: слегка застоявшийся, теплый «жилой» запах квартиры, голубой фонарь в спальне Таисии Николаевны, Сережа со своими записями лекций и разговорами о репетициях, за окнами темный Гавриков переулочек с керосиновыми убогими фонарями и

в осенней тьме Москвы на Коровьем Броду белое здание, куда и завтра идти, и послезавтра. «Колористы в Иванове-Вознесенске зарабатывают по несколько сот в месяц»...

В воскресенье можно спать долго — Глеб в десять еще не подымается. Конец ноября, выпал снег, забелил Москву. Смятчил, приодел и Гавриков переулок. Ломовики не грохочут, за сном слышен скрип саней, не раздражающий. В комнате тепло, Анфимьюшка отлично натопила печку еще в темноте. По потолку отсвет снега с улицы — живое, бодрое в нем. Вст узкое пятно протрусит по потолку: извозчик проехал в санках.

Когда Анфимьюшка подаст кофе, в приоткрытую дверь потянет теплым запахом кухни. Таисия Николаевна уже давно копошится, ходит, присматривает. Варится суп — длинная история. Потом будут печь пирог: к завтраку по воскресеньям бывают Манурины, мать и дочь, родственницы Таисии Николаевны.

Глебу запомнилась первая встреча.

Он одевался, тщательно чистил тужурочку свою с вензелями на плечах. Не дай Бог, чтобы вихор на голове торчал!

Наконец, все в порядке, вышел. В комнате Таисии Николаевны сидели уже гости. Вера — высокая девушка лет двадцати семи, прямая, статная. Широкие плечи, прозрачные холодноватые глаза. Мать полнее. Несколько горбится, в наколке, на груди бриллиантовая брошь.

В том, как подала ему руку Варвара Дмитриевна, слегка прищурилась, сказала: «очень приятно», в том, как блестело кольцо на длинном пальце Веры,

как крепко и сухо подала она ему руку, было не совсем привычное, не-свое. Глеб знал, что Вера пианистка, кончила петербургскую Консерваторию, здесь с матерью проездом — после Рождества уезжают за границу. Но сейчас ни о чем этом не подумал, а ощутил дуновение прохлады, чего-то не вполне женственного, почти жесткого. Это его смущало. Но и подтягивало.

Анфимьюшка подала пирог, перешли в столовую. Глеб сидел против Веры. Она рассеянно осматривала комнату. Варвара Дмитриевна косилась, шурилась на хозяйку. «Таисенька, твой пирог просто прелесть. Забралась в этот Гавриков переулок и развела такое хозяйство... Молодой человек, она вас закармливает?» Глеб улыбнулся. Таисия Николаевна порозовела. «Что ты, Варя, это обыкновенный пирог с вязигой». Вера ела охотно, не стесняясь и довольно просто. «Да, правда, очень вкусно».

Кладя Глебу второй кусок пирога — уже с грибами и ливером — Таисия Николаевна сказала:

— Вера, ведь, знаете, настоящая артистка. С золотой медалью окончила. Замечательно играет. Скоро концерты давать будет.

Глеб не без важности ответил:

— Я знаю, что артистка. Да если бы и не знал, все равно, по рукам видно.

Вера подняла на него глаза.

— По рукам?

— Да, у вас руки уж такие — для рояля.

— А-а!

Она усмехнулась. Но Глеб так прочно взял тон знатока, что улыбка не смутила его.

Варвара Дмитриевна спросила, любит ли он му-

зыку. Глеб ответил, что любит, но недостаточно знает. «Впрочем, я слышал некоторых знаменитых музыкантов». «Кого же именно?» «Рейзенауэра, Гофмана». «Ага, значит, вы из Гаврикова переулка и по концертам ходите?» Тут Глеб несколько осекся. «Нет, я слышал их еще в Калуге, учеником».

Вера налила себе воды, прозрачной и холодно-ватой, глотнула. Ни она, ни Варвара Дмитриевна на Калугу не обратили внимания. Но Глеб обратил. Счел, что марка его невысока. Студент из Калуги! Даже если прилично одет, в новой тужурке, хорошо причесан, все же невелика фигура. Он притих и покорно занялся куриной ножкой под рисовым соусом. Вера усердно обглаживала крылышко. И вдруг, подняв глаза, точно впервые Глеба увидела, спросила: «А что это у вас на погонах за вензеля?» Глеб объяснил, очень скромно: Императорское Техническое Училище, он будущий инженер. «Ну, да это все неинтересно».

Вера обтерла губы салфеткой. «Почему же неинтересно? Дело и дело, как всякое другое. Отлично будете зарабатывать. Это самое важное».

Глеб был несколько удивлен. От артистки ждал другого. Все-таки было приятно, что она не смотрит на него свысока. Впрочем, хоть внешне мог он и очень смущаться, но внутри крепость со рвами и бастионами сидела, он чувствовал себя в ней довольно прочно, и хоть студент-химик из Калуги, но и сам с усами, никому поддаваться не намерен.

Да Вера его и не задевала. Они обменялись всего несколькими фразами, в тоне вежливо-сдержанном. Когда Глеб на минуту вышел за пепельницей, Варвара Дмитриевна подмигнула хозяйке. «Где ты этого

студентика выудила?» «Ах, ну просто зашел и снял комнату» — Таисия Николаевна опять покраснела: ее вообще-то смущало, что вот у нее, одинокой вдовы, живет молодой человек. «Во всяком случае», добавила Варвара Дмитриевна: «видно, что из приличной семьи».

После кофе Вера села к пианино, такая же прямая, высокая, покойная. Свет из окна падал прямо ей в глаза, они стали еще прозрачнее, но не теплее. Глеб сидел в углу, спиной к свету и видел ее всю, отлично. Когда длинные пальцы неслись по клавиатуре, глаза продолжали быть бесстрастны. Руки напомнили Софью Эдуардовну — вызвали некоторое сочувствие. Но Вера играла не так, как та. Кто лучше? Он не решился бы сказать. Как виртуозка наверно — эта. Но с той связаны были детство, нежность, с музыкою ее — поэзия. В Вере поэзии он не ощутил. Холодный, сияющий блеск шел и от клавишей, и от нее самой, от летящего, тонкого бисера звуков. Он слушал с интересом. Что-то бодрило, укрепляло его.

**
*

Перед окном матери на кусту сидела синичка, все встряхивалась, охорашивалась, играла пестреньким своим, с желтизною и сизым, тельцем. Ветка качалась, осыпая снег. Балыковский сад серебристо и безмолвно занесен был этим снегом. Тишина — и среди сосен саровских, и в самом доме.

Час предобеденный. Отец еще не вернулся, мать только что получила два письма из Москвы, сидит в кресле у окна, в пенсне, под игры синички медленно перечитывает эти письма. Глеб пишет коротко, суховато: жив, здоров, много учится. С ним

на одном курсе Сережа Костомаров. Квартирой и столом доволен... Мать вздохнула. Глеб всегда был такой. Разве от него узнаешь что-нибудь? Все в себе. (Она забывала только, что сама именно такая же).

Лиза другой человек, и письмо ее иное. «Милая мамочка, я так по тебе соскучилась, хочется вас обоих повидать...» Ну, это все очень хорошо, у Лизы нежное сердце, но повидаться, конечно, не так просто.

Квартира ее на Арбате, она поселилась с подругой, какой-то Вилочкой Косминской, тоже консерваторкой. «Глеба вижу редко. Он очень занят, да и я тоже. Притом, он устроился далеко, за Разгуляем («какие в этой Москве названия!») А все-таки в прошлое воскресенье мы с Вилочкой к нему собрались. У него довольно хорошая комната, он снимает ее у одной вдовы, г-жи Милобенской. Нам у него понравилось, хотя местность там скучная, живет он замкнуто, мало с кем встречается. Хозяйка его милая и простая. Мы его звали к себе, чтобы чаще приходил, у нас все-таки веселее, бывают университетские студенты, вместе ходим в театр. Глебу, по-моему, одиноко жить там. Настроение у него неважное, но ты сама, мама, знаешь, что от него трудно добиться чего-нибудь более ясного».

Синичка улетела, ныряя в воздухе. Мать сняла пенснэ, отложила письма на столик и встала. Лицо ее было задумчиво, выражало заботу. Она не заметила, как в дверь просунулась вязанка дров, косолапый мужик Аверьян, в пиджубке и валенках, с размаху грохнул ее у печки. Мать вздрогнула, обернулась. Аверьян будто смутился. «Ах, как ты гремишь». «Дровешек, было, того...»

Мать прошла в столовую. Старый лакей Ипатыч,

лысый, с больными ногами, накрывал на стол. «Пива барину достали из погреба?» «Так точно-с...» Мать оглядела столовое свое хозяйство — как будто все в порядке: графинчик водки перед прибором отца, соленые гурцы, красная капуста.

Кое-что она, все-таки, поправила: весело ли на душе, хмуро ли, хозяйство священное дело, о своих чувствах думать не приходится.

Отец весело раздевался в прихожей. Насвистывая, прошел умыть руки в умывальную, склеил ледяшку с уса: мороз порядочный. Потом расчесал боковой пробор, пригладил волосы щеткою, явился в столовую.

Мать, в накидке, как бы слегка озябнув, садилась уже на свое место.

— Меню? — спросил отец. И налил рюмку водки. Он, когда бывал в духе, всегда спрашивал меню, «чтобы знать наперед, чему сколько оставить места». Но мать как раз этого слова и не любила. В нем было для нее что-то ресторанное.

Отлично зная, что сегодня рассольник и на второе баранина, она ответила независимо:

— Вот сам увидишь.

Отец заедал водку огурцем.

— Для того и спрашиваю, чтобы услышать, а не увидеть.

Мать ничего не ответила, позвонила Ипатьчу. Через минуту внес он дымящийся рассольник. Отец выпил вторую рюмку и сказал, что опять ему придется ехать в Илев, дня на три: приезжает из Петербурга Ганешин с членом Правления.

— Дурачье петербургское, опять начнут мудрить, делать вид, что понимают что-то в заводском деле. А что они понимают? Ровно ничего!

Отец говорил будто бы проницательно, но тоном бодрым. Он и действительно вовсе не прочь был с-ездить в Илев, выпить с Ганешиным коньяку, сыграть в винт — а может, и дамы какие приехали из Петербурга — распустить хвост, похохотать. Мать все это чувствовала. Лицо ее становилось строже.

После баранины была еще размазня. Отец ел ее медленно, намасливая, приглаживая и приминая ложкой — получалось вроде геометрического тела — по правильным секторам он выгребал содержимое.

— Я получила из Москвы письма, — сказала мать. — От Глеба и Лизы.

— А-а! Ну, как, здоровы?

Отец спросил приветливо, но довольно равнодушно.

— Прочти сам.

После размазни отец налил кружку пива, надел пенснэ и взял письма.

— Учится, учится. Та-ак.

Он отложил письмо Глеба, взял лизино. Некоторое время читал молча.

— Вдовы Милобенской... хозяйка милая и простая... — снял пенснэ, вынул кожаный портсигарчик. Закурил папиросу и хлебнул пива.

— Вот эти милые и простые хозяйки, симпатичные вдовы и любят молоденьких студентов.

Мать строго на него взглянула.

— Что ты этим хочешь сказать?

Отец курил — пускал кольца синеватого дыма. Они плыли плавными мягкими валиками, потом таяли.

— А те и хочу сказать, что говорю. Сколько я таких случаев знал!

— Сыночка по-другому воспитывался, он...

— Твой сыночка совершенно так же устроен, как и все.

— Во-первых, он такой же твой, как и мой.

— Не сомневаюсь.

— Да, и сыночка не станет заводить романов с первой встречной женщиной. Он слишком серьезен.

— В этом возрасте все кажется очень серьезными, а думают только об одном.

Мать стала еще холодней.

— Если судить по собственному опыту, то, конечно...

— Э-э, брат, причем тут собственный опыт? Природа! Так человек создан. Против рожна не попрешь.

Мать сама думала почти так же. В молодости любила отца возвышенной, чистой любовью. Но возвышенная любовь — одно, жизнь другое. Долгие годы с отцом доказали эти. Теперь она говорила о любви реально, полу-медицински. Вглуби же, за-прятанное, очень оскорбленное, сидело и прежитое.

— Разумеется, если видеть только животную природу человека...

Отец не поддержал разговора. У него был такой вид, что не стоит спорить: дело ясное, жизнь идет по своим законам, не нами установленным. И по этим вот законам он доспел свое пиво, перейдет в кабинет, где пахнет ружьями, патронными, мед-вежьей шкурой у письменного стола — залезет на турецком диване да так заснет, что просто прелесть.

Это именно и произошло. И вторую часть дня они провели по-разному. Отец, выспавшись, еще раз сходил на завод, вернулся в настроении хорошем. И

весь вечер напевал песенку, которая неизменно развлекала его:

«Вею, сею, сею, вею,
«Пишу письма архирею.
«Архирей мой, архирей,
«Давай денег поскорей».

Мать тоже прилегла. Печка, которую знатно растопил Аверьян, потрескивала и бросала на пол красновато-золотистый отсвет. Мать постелила на подушке дивана чистый носовой платочек, прилегла вздремнуть — не так, как отец, но дремотою тонкой, однако отдохновительной. Нынче дремота не шла. «Конечно, одному скучно, грустно в таком городе, как Москва. А тут рядом женщина, опытная, ловкая...» Дальше шли мысли в том же роде. «Да, и не заметит, как она его затянет. Разве у него есть опыт? Он ничего еще в жизни не знает, она этим и воспользуется».

Зимний день кончился. Голубятня, занесенная снегом, стала-было погружаться во мглу, но сквозь сосны саровские сначала бледно, а потом явственней засветилась луна, она катилась бесшумно-тайно в небесных безднах. То заволакивалась молочной белизной, то проносила по лазури в узорах звезд, тогда ярче и чище заглядывала в скна дома балыковского, где на своем диване передумывала Глебова мать те же думы, какими томятся, томились, будут томиться тысячи матерей. В снежной, фантастической пустыне за окном все было хорошо — дыхание Господа сил. В женском сердце все тоскливо, смутно, несмотря на золотые узоры, уже тянувшиеся из окна по полу.

По временам мать переворачивалась, вздыхала, вполголоса произносила: «О, Боже мой, Боже мсй!» — полу-вздых, полу-молитва (но если молитва, то бессознательная: сознательно мать не молилась).

Весь этот вечер она была не в духе. И вполне ушла в себя. С отцом больше не подымала разговора о Глебе. Переходя с места на место, садясь, вздыхала. «О, Боже мой, Боже мой!» — как будто тот Бог, к которому была она прохладна, следовал за ней повсюду.

Пасьянс после ужина прошел мрачно. Мать совсем не слушалась советов отца, вся его глубокомысленная стратегия пропадала. Он довольно быстро махнул рукой, усиленно занялся пивом, слегка подпевал: «Архирей мой, архирей, давай денег поскорей!» Мать подняла глаза. «Что тебе нравится в этой песенке? Ничего смешного!» Отец улыбался. «Вею, сею, сею, вею...» Мать смешала карты — пасьянс не вышел. «Просто герунда».

На другой день отец в дожде, серой мерлушковой шапке закатился в Илев. Мать осталась одна, в снежной своей обители. Она много шила, читала роман в «Вестнике Европы», надев валенки ходила по хозяйству. Многими своими вздохами пришла к некоторому решению. Большие ли решения, малые ли, созданные в одиночестве, крепки. Мать невозможно было сдвинуть с того, что она уезжает в Москву — «недели на две, чтобы посмотреть, как живут Лиза и сыночка».

**
*

Зима российская катилась — над столицами, над захолустьями. Веял снежок над Петербургом, где мо-

лсдой царь входил в силу власти, и над Москвой, где правил дядя его, высокий, изжелта-костистый, москвичами нелюбимый Великий Князь Сергей. И Петербург, Москву, далекое Балыково несло одно дыхание равнины русской, с заметюпками, морозами, полузасыпанными снегом избами, заиндевелыми бес-людями, сизо-мохнатыми лошаденками.

Глеб, живая точка, ежедневно направлялся на Коровий Брод, слушал там лекции, чертил с Сережей Косломаровым части машин, сдавал зачеты, дома ел скучноватые щи — изделия Анфимьюшки или Таисии Николаевны. Квартирка все так же тиха, Таисия Николаевна так же робка. В спальне попрежнему голубой фоварь, будто и призывающий, а освещает всего лишь благоустроенную, но одиовую постель. И портрет мужа ничем не смущен.

Приезжали, как прежде, Манурины. Завтракали. Вера как всегда много ела, покойно смотрела прохладными глазами. Бриллиант блестит на пальце, отсветы снега в глазах.

«Что же, вы все Рождество сиднем будете сидеть вот так в этой мурье?» спросила она раз, зайдя к Глебу в комнату. Закурила, села за письменный стол, вытянула длинные ноги. «Ведь вы же молодой студент, неужели не хочется на Москву посмотреть, в театр сходить?»

Глеб ответил, что в театр охотно собрался бы. «Да, но нужно, чтобы вам достали билет, посадили на извозчика и сдали в багаж?»

Глеб улыбнулся. Ему отчасти нравилось, что взрослая барышня, гораздо старше его, артистка, разговаривает с ним так запросто. Не хотелось, чтобы его-то она не считала совсем простым. «Я в театрах

и бывал и буду бывать, но в общем жизнь настолько неинтересна, что пойдешь лишний раз или не пойдешь, она лучше не станет.» «Глупости. Эти философии все ни к чему. Жизнь на что-то дана, нельзя ее прокапчивать». «Да, вы артистка, для вас...» «Надо заниматься таким делом, которое интересует. Вы вот говорили, что инженерство вам не нравится. Жаль, что не нравится, но ваша воля. Не нравится — пишите стихи».

Она говорила отрывисто, побалтывая ногей, перебирая пальцами на столе разные мелочи. Вдруг развернула тетрадку, на ней надпись: «Дневник».

— А, вот это что такое! Угадала. Писатель!

Глеб смутился. «Нет, пожалуйста, положите. Никакой не писатель, просто так... Ерунда всякая».

— Ну, не буду.

Он взял рукопись, покраснел и как будто даже рассердился. Вера осталась совершенно покойна.

«Полное ваше право писать, сочинять, ничего дурного в этом не вижу».

Глеб и сам знал, что ничего дурного. Все-таки... Тетрадку эту он завел недавно, записывал разные, казавшиеся ему значительными, свои мнения «о жизни», иногда сценки. Чаще всего изливал горечь. Иногда смутно казалось, что может быть, следует и серьезней попробовать. Но все это было тайное, никому не открытое, даже Лизе и Соне Собачке. А тут Вера Манурина сама налетела...

Как бы заглаживая это, Вера встала, сказала решительно: «А в театр поедем. Я вам достану ложу на Шаляпина. Слыхали? Молодой певец, но очень талантливый».

Глеб ответил: Шаляпина знает, в театр пойдет с удовольствием.

Вошла Таисия Николаевна. «Таисенька, я везу вас всех в театр. Знаешь, по семейному, как в бани. Мы уже уговорились с Глебом Николаевичем. Не смей отказываться». Таисия слегка покраснела: «семейные бани» — это не ее стиль. «Ах, Вера, ты всегда так скажешь...» «Никаких отговорок. Я все равно скоро уезжаю, пусть и будет вроде прощального бала».

На том и порешили. Вера ушла.

Через несколько дней она прислала номер ложи на «Юдифь», в Шелапутинском театре. Глеб с Таисией Николаевной должны были приехать вместе, Вера одна — Варвара Дмитриевна на несколько дней уехала в Петербург.

И в назначенный вечер извозчик вез Глеба и Таисию по заснеженным улицам Москвы на Театральную площадь. Глеб чувствовал себя напряженно, бодро: впереди, хоть на сегодня только, нечто такое занятное. Рядом в санках Таисия Николаевна в ротонде с меховым воротником, тщательно приодетая, надушенная. Глеб придерживал ее слегка за талию — под скромный трюх лошаденки плыла вокруг них в вечерних огнях Москва, все эти Красные Ворота, Маросейки и Мясницкие с вывесками немецких контор, Лубянская площадь в снегу, зеленоверхия башни Китай-города за Политехническим музеем. Они были дома, в родной стране, в сытной и покойной Москве, собиравшейся предлагать им свои дары.

Извозчики подъезжали к театру — ссаживали дам в шубах и капорах, мужчин в мерлушковых шапках. Ботинки скрипели по снегу. Подходили и пешком, и все вваливались через хлопающие двери в вестибюль: сразу тепло, светло, нарядно.

Глеб забеспокоился. Ведь билета у них нет?

Только номер ложи. Если Вера не приехала еще, то их не пустят....

Он подымался в бель-этаж с неприятным ощущением: вот они скажут, что у них такая-то ложа, капелъдинер спросит билет — показать нечего... — он наверно подумает, что они прѣйдохи какие нибудь, хотят в чужую ложу забраться.

Все это быстро пронеслось в голове, как легкий, но нерадостный пожар, так-же быстро и угасло: да, Вера еще не приехала, но старик капелъдинер с пробритым между бакенами псдбородком, напоминая писателя Григоровича, не заподозрил их в самозванстве. Очень любезно отворил дверь ложи, снял ротонду Таисии, повесил на вешалку. Глеб успокоился, но не совсем. А вдруг Вера не приедет? Вот тогда и дсказывай, что имел право на эти места!

Беспокойство Глеба было недолго. Благоухая духами, высокая, широкоплечая, Вера приехала во время — ни раньше, ни позже, чем надо. Уселась с Таисией Никслаевной, выложила на барьер коробку конфет, прекратила все тревожнения Глеба: никакой Григорович не властен теперь над ними.

Оркестр заиграл, свет погас. В верхних ярусах отворялись для запоздалых двери лож с балконов. Мелькали светлые прямоугольнички и захлопывались. Партер еще слетка кишел — струйками, но успокаивался. Романтический сумрак надвинулся: радость, сбольщенье театра.

Глеб сидел позади, перед ним Вера и Таисия. Иногда головы их двигались и рисовали какие-то узоры на оркестре, на нижней части занавеса. А потом занавес этот легко пошел вверх. На сцене полутемно. Можно, однако, различить древний восточный

город, группы женщин в хламидах, мужчин. Опера началась. Надо было поверить, что это времена Юдифи, Олоферна. Кто хотел — верил, кто не хотел — нет. Глеб не думал об этом. Престо сидел, вдыхал в полумгле слегка застоявшийся, смутный запах театра, за хорами и иудеями не следил, понемногу вдавался в мечтательное, сладостное брожение. Куда оно направлялось? Этого и не мог-бы сказать. Ничего он не знал с себе, ничего будто-бы и не хотел. Две женские головы перед ним, попричиханные, внимательно музыку слушающие, тоже его не занимали: это свое, обычное. Но из глубины шел зов к необычному и очаровательному, чего точно определить он бы и не мог.

Таисия нагнулась к соседке. «Верочка, где же Шаляпин? Вон тот высокий в плаще?» «В первом акте Шаляпина нет. Успеешь увидеть. Это просто статист». Таисия скромно умолкла, покраснела: как с ней часто случалось, представилось, что сказала ужасную глупость. Но ее шопот безвестно потонул в скрипках, переливах хора, всех этих биениях рукою в грудь, запахиваниях хламид, подбеганиях, убеганиях. Шаляпина действительно еще не было. Но театр плел уже всю свою и наивную, мило-смешную, но и трогательную сеть.

Во втором акте Глеб не впадал уж в мечтательность. Таисия Николаевна не спрашивала, где Шаляпин: в шатре лежал на низком ложе Олоферн, борода смолянисто-курчавая, Олоферн приподымался на локте, обводил огромным подведенным глазом полную Юдифь, поправлял ожерелье, потягивался — и пел, конечно: разводил бархат свой несравненный. Вот он Шаляпин, волжский плод, в теплых объятиях

Москвы растущий. Певчий из Казани, высоченный, с рыжеватыми бровями, почти белыми ресницами! А откуда же Восток, древность, ассиро-вавилонское? Олоферн потянулся-потянулся, да как вскочил, легким тигром, страшным и прекрасным, зашагал вдруг по ковру в шатре своем, поиграл мечем, испугал Юдифь — опять запел.

Слава Олоферна начиналась. После второго акта вой стоял в театре, треск рукоплесканий. С верхов сбегали вниз студенты, «чуткая молодежь», барышни. Лезли в проходы партера, орали, аплодировали: хотелось поближе протискаться к сцене, получше рассмотреть Олоферна.

Глеб чуткою молодежью не был, но выйдя из ложи попал в общий поток. Он сам был взволнован, улыбался, хлопал — в тон настроения театра, когда рядом хлопающие кажутся друзьями — все в одной радости.

«Глеб, и ты тут?» Глеб обернулся — сзади держала его за рукав Лиза, веселыми, смеющимися глазами на него глядела. «Вот хорошо! А правда замечательный Шаляпин?»

Глеб тоже ей заулыбался. «Ты что же, одна тут?» И только что это сказал, увидел за нею студента в синем пальто с золотыми пуговицами. Лицо его некрасиво, но мило, над невысоким лбом ровный бобрик, глаза маленькие, длинные усы, горизонтально в разные стороны слегка подкрученные. Тоненькая шея из воротника мундира, подмышкой папаха. Он яростно аплодировал, хоть и мешала суковатая дубинка — на ремешке висела над кистью правой руки. «Браво, Шаляпин! Браво! Тащить его сюда, качать зараз, под потолок его!»

Лиза смеялась. «Разошелся хохол. Теперь не удержишь. Это знакомый мой один. Ну, Артюша, будет вам, вст познакомьтесь лучше с Глебом».

Ярила обернулся, лицо его расплылось улыбкой. Усы поехали вверх. Он пожал Глебу руку.

— Грищенко, Артемий. Третьего курса, медик. Очень рад! А как поет, сукин кот! По сцене як тигр ходить! Bravo Шаляпин, bravo!

Лиза отошла с Глебом в корридор. «Первый раз слышит Шаляпина, впал в восторг. Он очень славный. А ты один тут?» Глеб сказал с кем. Лиза сделала хитрую лисью мордочку, подмигнула. «С тихенькой хозяйкой?» «Брось, глупости! Все так неинтересно»...

Антракт кончился. Лиза велела непременно прихсдить к ним на Арбат.

— С разными Таисиями да Мануриными по театрам ездить, и к нам с Вилочкой можешь собраться. Моя Вилочка прелесть — вот увидишь.

Глеб обещал. В толпе мелькнули усы Артюши, он весело кивнул Глебу — разные потоки разнесли их — Лизу с Артюшей наверх, Глеб через три минуты был уже в своей ложе. «Ешьте, вот конфеты, для того и привезла» — Вера сидела вся в свету, высокая, прямая, опершись голым локтем на балкон и ела. Таисия Николаевна рассматривала залу в бинокль: ей как будто покойнее было, уютнее за увеличительными стеклами.

Вера дожевала свою тянучку.

«Я после театра вас с Таисией к Тестову приглашаю. Растегаев поедим, это будет дело».

Глеб не знал ни что такое Тестов, ни что такое растегаи. Но принял вид равнодушия и спокойствия: ничем нас не удивишь!

Вновь свет погас, занавес поднялся. Вновь шатры на сцене, иудейки, хлами́ды, плащи, городские стены, мечи, хоры, много всякого добра, полагающегося в опере. И над всем один хозяин — Олоферн. Как ни распевал, однако, он, как ни тневался, ни ластился потом к Юдифи, дело его обернулось плохо. В последнем акте хитрая еврейка отрубила-таки ему голову — когда заснул. «Правильно», сказала Вера: «голова стскочила, а сейчас он будет выходить на вызовы, кланяться публике».

Она не ошиблась. Чуткая молодежь вновь орала и аплодировала, самая чуткая наводнила партер и из опустелых первых рядов, бенуарных лож все звала, все звала любимца. Олоферн выходил — высокий и гибкий, тонкий, мягко-тигровый. Кланялся, прижимал руки к груди — так растроган.

Вера поднялась. «Душенька, я Шаляпина счень люблю, но психопатничать не собираюсь. Есть, есть хочу, меня тянет в кабак».

Таясия спрятала бинокль, покорно собиралась. Но слово кабак неодобрила — не ее стиль. У ней вид был такой: «что ж, Верочка со страннностями, я ее с детства знаю. Какая есть, такую и примем».

**
*

Туман, мороз, у Большого театра два костра. Извозчики, кучера невообразимой толщины, городовые подпрыгивают, притспывают по снегу ногами, хлопают руками в рукавицах: холодно! Господа слушают оперы, в Малом театре смотрят Островского. А на улице пятнадцать градусов, того и гляди нос от-

морозишь или уши....: три, три их! У кого башлык — и слава Богу.

Вера, Глеб и Таисия пешком пересекли площадь, мимо Охотного, отеля Континенталь, мимо нотариуса Шереметевского. Прямо перед ними часть стены Китай-города, правее громада Думы, и вот подъезд Тестова.

Уже бы и подыматься по нехитрой лестнице, да Вера вдруг передумала.

— Бог с ним с Тестовым. Там одни обжоры. Пойдем в Большой Московский.

Еще несколько шагов, другой подъезд, наряднее. Ряд лихачей («пожа-пожалуйте, купец, подвезу!»), есть пары на пристяжку — голубки.

В раздевальной сразу пахнуло теплом, светом, верхние одежды переплыли в услужливые руки, перед зеркалом дамы оправили прически. Во второй этаж подыматься по лестнице в красном ковре. Издали музыка. Прислуга в белом, носятся взад-вперед с блюдами, блистающими никелированными кастрюлями, из них вкусно попахивает: стерлядь кольчиком, вареный цыпленок, мало ли что еще.

Мэтр д'отель поклонился, провел в залу. Двухсветная зала Большого Московского не из маленьких. На хсрах цветы, оркестр, тоже столики, но главная игра здесь.

Вера уселась, взяла карточку.

— Вот это ресторан так ресторан!

Таисия Николаевна устроилась скромно, но привычно: «Очень красиво, Верочка, только таких растаеяв как у Тестова не дадут». «Не плохо будет, не думай». «Я и не говорю, здесь тоже хорошо кормят, но покойный Михаил Акинфиевич ставил Тестова выше».

«Да, уж твой Михаил Акинфиевич любил покушать. А я хочу, чтобы нынче попикарней было».

Глеб осматривался. Нарядно! Свет, музыка, духи, туалеты дам, сияние колец, сережек, шей московских...

«Человек» в белой рубашке, белых штанах подал ледяной, запестевший графинчик. Икра, горячий калач, вымоченная в молоке селедка с дымящимся картофелем — машина заработала.

Она работала здесь ежедневно и ежевечерне. Москва торговая, зажиточная и богатая кормилась и кормила. Вера, Глеб, Таисия — случайные гости, не типические. Мало ли тут завсегдатаев, разных Бардыгиных и Гавриловых, Грибовых и Тарасовых, не говоря уже об именах всероссийских?

Вера пила водку спокойно. Таисия на нее поглядывала: «Не бойся, выпить могу сколько хочешь». Глеб тоже старался. Вера с ним чокалась. «Видите, это и есть Москва, Опера, Большой Московский...» «Да, мне очень нравится». «И Шаляпин понравился?» Понравился и Шаляпин. Значит, все, слава Богу, в порядке. Не зря выплыли.

За осетриною («америкэн, соус пикан») Вера говорила, что все это очень мило и приятно, но Москву она не любит. «Жирно, шумно, пироги, Замошворечье». «Как же так», заметила Таисия: «Верочка, в Москве ведь настоящая Россия. Кто Москву не любит, тот пожалуй и Россию не чувствует». «Ну, уж ты, конечно, со своей Таганки...» «Вовсе не с Таганки. Я на Чистых Прудах родилась, в Москве замуж вышла, в Москве овдовела. Да по правде сказать вся моя жизнь в Москве прошла, не могу пожаловаться».

Вера налила ей еще белого вина. «Выпей, и расскажи, но не впадай в чувствительность».

Таисия Николаевна отпила из зеленоватого бокала, посмотрела на нее ясным, серооким взором. «Я, Верочка, и не собираюсь никак впадать в чувствительность. Мало ли что там. Тебе одно нравится, мне другое».

Глебу показалось, что сказала она ючень покойно, твердо — не уступала. «Да я ничего... Таисенька, я тебя не задевала. А тебе нравится это вино?»

Таисия вновь глотнула. «Вино хорошее, но извини меня, я предпочитаю послаще. Это очень сухое. Михаил Акинфиевич любил, чтобы я выпивала немножко Шато Икэ́м или Барзак». «Да, разумеется, ты женщина, настоящая женщина. Тебе бы помягче, послаще». «Ну ведь и ты не мужчина». «Конечно. Но я одиночка, бродяга, так какая-то личность, играющая на фортепиано».

Вера показала Глебу сейчас странной. Показалась — и недолго он на этом задержался. Близкой она не была, не могла быть. Он очень благодарен, что она его вывезла, все отлично и сейчас весело, блестяще в этом зале ресторанном, и Таисия славная, но для него под всем этим он, он сам — все остальное украшение.

Несколько мужчин, дам вошло в зал, приостановилось. Метр д'отель низко кланялся, показывая рукой на угол. Голова — много выше других — высунулась из за двери, что-то знакомое в легком, тигровом движении тела, повороте шеи. Но теперь ясно видно, какой блондин Олоферн с Волги, с рыжеватыми бровями, светлыми ресницами. Метр д'отель

продолжал приглашать к большому угловому столу. Атаман быстро оценил все глазом.

— Не могу же я, голубчик, в общем зале...

Произошло некоторое смятение, лысые головы, дамские шеи и прически обернулись к дверям. «Шаляпин, Шаляпин!»

Ватага повернула обратно — только раззадорила сидевших здесь.

Вера обернулась к Глебу.

— Ну, теперь до утра. Голову ему отрубили, а он в отдельный кабинет и сколько шампанского с этой Юдифью выпьет... Так, Глеб Николаевич, Таисенька, еще раз, за здоровье Шаляпина!

Она подняла бокал. Все чокнулись.

— У него слава большая. И есть и будет. — Вера будто даже задумалась. — Он назначенный к этому человек. — «Верочка, а я за тебя хочу, сказала Таисия. — За твои успехи, и за твою славу. Не одному Шаляпину этим заниматься. Ты тоже развернись. Так, знаешь, прогреми за границей, возвращайся знаменитой пианисткой. Только тогда тебя в Гавриков переулочек не затащишь».

— Слава, слава... Тут, братцы мои, что кому на роду написано, заказать нельзя.

Она говорила покойнее, даже мягче, задумчивей обыкновенного.

— Глеб Николаевич, а вы о славе думаете?

Глеб удивился.

— При чем тут я? Какая там слава?

Вера пристально на него посмотрела.

— Мне кажется, думаете тайно. Да ничего — думайте! Нечего прятаться. Я вот прямо говорю: я бы хотела славы.

Глеб улыбнулся, поднял бокал, слегка тронул им верин. Она сказала спокойно:

— Но у меня славы не будет.

Таисия Николаевна забеспокоилась.

— Таисенька, не тревожься. Я могу выпить сколько угодно. Все равно — она говорила почти с раздражением: славы у меня не будет, да и вообще из жизни моей ничего не выйдет. А за границу поеду, по пяти часов в день за роялем сидеть буду, и так именно надо, а Глеб Николаевич пускай свои стихи пишет.

— Я никогда стихов не писал.

— Все равно, какие-то там штучки... пишет, прячет, все таит, а потом вдруг выйдет, что написал целую повесть.

Глеб не знал, принимать ли всерьез, обижаться ли, нет ли... — все-таки, не обиделся.

Вокруг стало просторнее. Кое где на опустевших столиках потушили лампы. Вера под столом сунула Глебу сторублевую бумажку. Он был в ужасе. «А платить-то ведь надо? Мужское дело! Сдачу мне отдадите!» Таисия Николаевна улыбалась. «Верочка нынче нас угощает, ничего, ничего! Только вы счет проверьте, не приписали бы лишнего».

Глеб обещал, но когда счет подали, проверить ничего не смог: спазма смущения сдавила. Свободнее вздохнул только когда вернул Вере сдачу.

А еще свободнее — возвращаясь в Гавриков, на морозе, при звездах, придерживая на раскатах Таисию Николаевну. Оба молчали. Глеб полон был собою, сегодняшним вечером, новым виденным, слышанным, пережитым.

Так продолжалось и дома в то время, когда при

голубом своем фонаре, заперев дверь, смиренно разоблачалась Таисия Николаевна, тоже взволнованная. Имснно вот тогда, менее всего о Таисии думая, вытащил Глеб свою тетрадку. Вера Манурина считает, что он пишет стихи! Никаких стихов, но что он ему хочется записать, написать. Странно она сказала нынче о славе... Слава! Мурашки вдруг прошли по спине. Шаляпин, театр, аплодисменты...

Глеб развернул тетрадку, стал изливать в нее то, что в подобные же тетрадки изливали и изливают, будут изливать сотни юношей на распутьях жизни. Ему казалось, что лишь он, впервые, именно этими, а не иными словами, в одинокий час ночи изображает свои тяготы — «кровию сердца».

Заснул он не ранее четырех утра.

**
*

Около двенадцати в передней позвонили. Анфимьюшки не было, отворила Таисия Николаевна. Перед ней стояла дама невысокого роста, немолодая, в шляпе слегка старомодной со страусовым пером, в дорсжном строгом пальто. И в ней самой показалось Таисии нечто прохладное, строгое, в кариx больших глазах будто знакомое. Дама спросила, здесь ли живет Глеб. Таисия ответила: здесь. «Я его мать. Можно его видеть?» «Ах, очень приятно... разумеется, можно, пожалуйста, входите. Он, кажется, еще не вставал, но это ничего, я постучу».

Мать вошла в переднюю как в бастион неприязельской крепости. Таисия сразу заробела. Отворила дверь в столовую. «Будьте любезны, присядьте... я сейчас».

Мать вынула старинные золотые часики на тонкой цепочке, взглянула.

«Без десяти двенадцать. Что же, он спит?» «Право, не знаю. Но из своей комнаты еще не выходил. Мы вчера очень поздно вернулись... моя родственница повезла нас на Шаляпина». «Разве театры так поздно кончаются?» «Нет, конечно, но потом мы попали в ресторан»... «А-а, в ресторан!»

Мать смотрела мимо Таисии. У той заколотилось сердце. «Боже мой, какая я дура! Что же подумает матушка? Вчера очень поздно вернулись!»

Покойный Михаил Акинфиевич говорил о Таисии: достойная женщина, но не весьма сообразительная — он жену свою знал.

— Я сейчас постучу, Глеб Николаевич будет страшно рад.

Выражение лица матери не изменилось. Она не нуждалась в том, чтобы от г-жи Милобенской узнать, что сыночка рад ее приезду.

И пока не весьма сообразительная г-жа Милобенская стучала в дверь к сыночке, робея приоткрыть ее — вполголоса, взволнованно объясняла кто приехал, мать сидела в столовой. Страусовое перо на шляпе поколыхивалось. Она рассматривала внутренность вражеской крепости: портреты Михаила Акинфиевича в черном сюртуке и белом галстуке, пианино, на котором играла Вера, в полуоткрытой двери — голубой фонарь. Угол хозяйкиной постели, уже убранной, почти нарядной. Мать слегка гдыхала. Театр, ресторан... какая-то Верочка... «эта» гусыня. Неудивительно, что он спит до полудня. Мать полужакрыла глаза. И вздохнула уже глубоко. А если они его спавают?

Через несколько минут вышел и сам Глеб, в наскоро натянутой тужурке, еще неумытый, остроугольно-худощавый, но с тем нежным румянцем на щеках, что и есть юность. Мог он и поздно лечь, и волноваться, и чувствовать себя непонятой натурой, обреченной на одиночество и тоску — но одного никак не мог бы убить в себе: юности, она выширала из всех щелей.

Нет, никто его не спаивал. Это все тот же Глеб, только в студенческом обличье.

— А-а, мама! Вот не ожидал!

Он ласково ее расцеловал.

— Даже не написала ничего!

**
*

Мать вполне могла бы остановиться в квартирке Лизы на Арбате, но поселилась у Ечкина, на Неглинном. Она знала, что там останавливается отец. Раз отец — значит, хорошо. Комнатку же взяла самую дешевую. И на чай давала умеренно: незачем баловать прислугу.

Лизе сказала, что не хочет ее стеснять. Это было отчасти верно — мать смстрела на свою поездку как на некоторую научную экспедицию: исследование жизни детей. А для этого надо находиться в стороне, чтобы ничто не мешало.

У Глеба, Лизы бывала она постоянно, но не этим одним занималась: делала покупки — отцу, детям (меньше всего себе), по хозяйству (огородные, цветочные семена). «Непременно побывай у моей подруги Матильды Прелль», весело говорил отец, провожая ее: «на Воробьевых горах, рядом с Ное-

вым. Пусть вышлет нам свеженьких прививок» — мать недовольно хмурилась: терпеть не могла легкомыслия — какая там «подруга»? Всего два три раза и видел эту Грелль. Но отец был неисправим.

Первое неприятное впечатление от Гаврикова переулка прошло. Мать приезжала туда обедать с сыночкой, иногда вечером. Познакомилась ближе с Таисией Николаевной. В деле хозяйственном у них нашлось даже общее. «Нет, эта скромная. Ничего тут не будет» — так ее определила. Встретилась и с Мануриными — вежливо, но прохладно. Они ей не очень понравились. («Слишком много с себе думают. А дочь к тому же чудачка. Нет, это герунда»). Но и в них опасности не усмотрела

А Глеб у нее на глазах жил, как полагается: рано вставал, отправлялся на Коровий Брод, слушал там лекции, чертил чертежи. Вечером совещался иногда с Сережей Костомаровым об учебных делах. Все это вполне естественно. Сережу мать знала еще по Калуге, сочувствовала ему — серьезный мальчик. Тоненький студент с капелькой пота на веснушчатом носу, стопыренными ушами, был он и в Москве деловит, усерден. Иногда помогал Таисии Николаевне починить стул, перевесить портреты, склеить попорченную шкатулку.

В Глебе же одно не совсем матери нравилось: он как-то печален. Ведь вот и молод, здоров, условия жизни хорошие, впереди карьера. Отчего же у него такой вид, будто его давит что-то?

И у себя в спартански-монашеском номерке на диванчике, в сумерки, мать все о сыночке думала. Вот он и ласков, и мил с ней — упрекнуть не в чем, о себе же не скажет ничего. «Жизнь не стоит того,

чтобы ею интересоваться», — такое или в этом роде постоянно срывается у него с языка. Но ведь это не значит открывать душу!

И мать переворачивается на другой бок, вздыхает. «О, Боже мой, Боже мой!»

Лизу нашла она в хорошем виде, но и о ней беспокоилась. Ах, это учение! Дома часами гаммы, в Консерватории уроки, разные сольфеджио, гармонии, контрапункты. А Лиза слабенькая — сколько в детстве хворала! При нраве веселом и даже насмешливом (в отца), всегда была жалостлива и нежна, всегда разные хромые цыплята, котята у ней. Мать считала: за Лизой нужен уход, опека, любовь. Кого-то, как встретит она в жизни? Вон у нея какие маленькие ручки, им приходится из всей силы растягиваться, чтобы брать аккорды: Вилочка берет их легко, но ведь у ней длинные пальцы.

Так, отдумав о сыночке, мать надумывала о дочери, опять перевертывалась.

Когда же с ними самими бывала, то чувствовала себя лучше.

Однажды Глеб пришел в воскресенье к Лизе под вечер. Мать сидела за пианино, в передней услышал он вальс из «Фауста». Мать улыбаясь играла, как-то странно и по старомодному пробегаая пальцами по клавиатуре. Глебу вдруг ясно представилось, что это не Москва, а Усты, зима, ему лет восемь, Лиза девочка, мать в устовской гостиной играет эти «Ах, скажите вы ей, цветы мои»... — и она гораздо моложе, спокойная и слегка улыбающаяся, меланхолически-мечтательная мать. А вот вальс оборвался, начался галоп — под него в Устах

же переважно роздeлювали они с Лизой и Соней фигуры кадрили.

Глеб подошел, обнял мать сзади, поцеловал около уха. «Мама, Усты вспомнила!» Она обернула к нему тонкое, сейчас не такое важное, как обычно лицо — полное любви и ласки.

— Да, сыночка, ты был вот еще какой маленький!

Она показала рукой невысоко от полу. «И кажется, бил иногда Лизу?» «Нет, это уж ты на себя наговариваешь. Может быть, раз-другой... но в общем вы жили дружно».

Глеб здоровался с Вилочкой Косминскй — худенькою, высокою девушкой, блондинкой, часто хмыкавшей носом. Из другой комнаты выглядывали усы Артюши.

— Мама, — спросила Лиза: — ты любила Усты? Мать улыбнулась.

— Мы жили там очень скучно.

— А нам с Глебом нравилось. Глеб, правда, там хорошо было? Глеб ответил серьезно и как бы задумчиво:

— Лучшее время жизни.

Мать взяла лизину голову руками, пригладила выбившуюся кудерку.

— Слава Богу, вам хорошо было.

Вилочка хмыкнула носом.

— Госпсда, чай начинаю разливать.

Мать поднялась, все двинулись в столовую. Усты, на мгновение выплывшие — для одних заря, для других заточение — вновь канули, чтобы дать место другому.

А другое это — столовая. В студенческом синем

сюртуке, с золотыми пуговицами, с бсбриком на небольшой головке заседал уже там Артюша, пил чай с блюдечка и подмигивая не то самому себе, не то всему миру, напевал:

«Ай, грайте музыки,
«Натягайте басы...»

— начало песенки, продолжения которой лучше бы мать и не знала: впрочем, дальнейшего сн при ней и не изобразил.

Чай вышел довольно веселый. Мать не стесняла. И сама нынче была в хорошем расположении: она с детьми, дети ласковы, молодежь тоже приличная. Мать раза два даже так рассмеялась, что Лиза бросилась ее целовать, пощекстала у шеи, как в детстве делала, в знак восторга.

Вспоминали опять Шаляпина. Рассказывали о нем матери. Артюша вдруг вскочил, присел на корточки и как бы в восторге три раза обернулся вокруг себя самого. Бешено крутил усы.

— Як на сцену выйде, як начне петь, то просте таки... у-у, собачий сын как поет!

Потом бросился целовать матери ручку, ухватил Глеба, с ним пытался танцовать. Вилочка краснела и улыбалась за самоваром. После чаю Лиза сыграла с ней в четыре руки увертюру «Кориолана». Мать слушала уже серьезно. Артюша тихо сидел. Ей приятно было — Лиза сделала большие успехи.

За ужином ели окорок, приехавший с матерью из Балыкова. Долгий путь — знатный гостинец. Чокнулись и наливочкой за здоровье матери.

— Дай, Боже! — сказал Артюша. — И почаще

к нам в Москву наезжать. Глеб, за маменьку! Глеб, ксллега! Я Университет, вы Техническое. Вместе и рядышком. У нас забастовка буде, то вы поддержите, у вас что-нибудь, то и мы тут как тут, зараз развернемся.

— Какая забастовка? — спросила мать. — Разве предполагается что-нибудь? — Артюша быстро взглянул на Лизу, будто смутился.

— Это я так... вообще. Никакой забастовки и нет, а я просто на случай... пс товарищески.

— Да, я что-то слышал, — сказал Глеб рассеянно: будто у вас беспокойно.

Вид у него был такой: слышал да мало заинтересовался.

Разошлись в начале одиннадцатого. На углу Арбата и Староконюшенного Глеб нанял извозчика — завезти мать на Неглинный, а самому дальше, в Гавриков. Вечер был нехолодный. Порошил снежок, не то метель, не то оттепель. Глебу было приятно ехать с матерью. У ечкинского подъезда она его перекрестила, извсзчик затрусил далее, по Трубе, где когда-то видел Глеб герольдов коронации, к Сретенке, Красным Воротам. Москва была уже тиха, пустынна. Деревней и метелью веяло с Рождественского бульвара, чем дальше ехал Глеб, тем более завозил его извозчик в темень, глушь ночи. «Ах, скажите вы ей, цветы мои...» — как мило мать играла, как все далекс, Усты, детство, счастье.

«Ну, во всяком случае прекрасно было».

В это самое время мать, раздеваясь в своем номерке, думала о другом. Через два дня надо уже трогаться. Вновь Балыково, сосны, думы. Вновь дети

далеко. А сегодняшний вечер был счень приятен. Все-таки...

Что это говорил Артемий о забастовке? Какая забастовка? Из-за чего? А если и в Техническом, у сыночки??

Мать отлично знала, что ни в пользу и ни против забастовки ничего не могла сделать. Все же появилось ощущение, что чего-то она в Москве недоделала — пожалуй, самого главного. Опять она разочалась. Заснуть было трудно.

II

Глеб сидел в чертежной над листом ватманской бумаги — подшипник тлядел оттуда. Сережа с бобриком своим на голове, в веснушках, проводил на чертеже пунктир. В огромное окно сияло небо — весеннее уже, лазурь с кисейными облачками. На той стороне, за Яузой, деревья еще голые, по мартовски острые — синяя пестрядь бежит от них по земле. Когда облаком прикрется солнце, все темнеет. Скучными становятся рыжие Кадетские Корпуса. Анненгофская роща, направо, хмуро синеет соснами. Но опять прыснет светом — опять радость, трепет, струение.

В другое время Глеб взволновался бы весной, молсдость заговорила бы томлением пронзительным. Но сейчас он в равнодушии подшипников, винтов, гаек. Вокруг юноши тоже не видят ничего кроме циркулей и линеек. Все они делают так называемое дело, серьезны, внимательны. И это тоже называется жизнью — в некоторой прописи изображено: «молодые люди учатся, чтобы стать инженерами».

Стеклянная дверь отворилась, вошли три студента. Один постарше, нечисто одетый, с перхотью на ворстнике — глаза серо-тусклые, волосы жирные. Спутник, розовый юноша с усиками, очень миловидный и складный, почтительно к нему обратился:

«Клингер, я думаю, здесь»? В руке у него бумажка, он указывает, где бы ее устроить.

Тот, кого он называл Клингером, ничего не ответил. Взяв бумажку, прикрепил к черной доске над кафедрой.

— Коллеги, завтра в три часа сходка — по предложению Университетского комитета, объединенного с нами и советами землячеств. Все являйтесь. Надо выявить волю студенчества. Тут объяснено.

И так же быстро как появились, все трое вышли в другую дверь — нечего разговоры разговаривать.

Головы поднялись от чертежей. Теперь трудно было бы сказать, что молодые люди учатся. Все именно перестали учиться. Один за другим потянулись к доске, образовали стайку: каждому хочется прочесть, что там такое. Глеб тоже подошел. Один Сережа Костомаров не оторвался от своего пункта — запыхавшись, он, покуда не жарко, чертежей не бросит.

— «Это комитетчики. Клингер третьего курса. связь с университетом». Глеб удивился. «Какие комитетчики?» «Такие, забастовочного комитета, видите, тут написано». Глеб протиснулся к доске, прочел что надо.

Бумажка грязно была напечатана, синеватые буквы гектографа кое-где сливались. «Комитетчики!» Глебу не понравилось слово. «Комитетчики!»

Он вернулся к Сереже. «В Университете волнения. Завтра нам предложат присоединиться». Сережа поднял голову. Его милые голубые глаза — давняя Калуга — выражали озабоченность. Левая рука придерживала на бумаге линейку, правую с рейсфede-

ром он приподнял, но никак не забывал, что пунктир еще не доделан. «Куда присоединиться?» «К Университету. Из чувства товарищества». Сережа опустил глаза, продолжал свои точки и черточки: две черточки, точка, две черточки, точка. Он нанизывал их с усердием древнего миниатюриста. «Значит, нам предлагают бунтовать? Смешно!»

Неизвестно, что смешного нашел тут Сережа. Тон его был так простодушно-невозмутим, что на него самого можно было бы улыбнуться. Глеб, однако, не улыбнулся. Ничего не ответил. Нечто вошло в него острое, возбуждающее. Опять сел за стол, пробовал работать. Спокойствия Сережи не оказалось. «Комитетчики! Что за Комитеты такие? Кто их устраивает?»

Домой ушел ранее обыкновенного. Пообедал один. В сумерки прилег у себя на диване. «Они хотят бороться с Правительством. Но бороться можно, когда есть надежда победить, хотя бы маленькая». А какая же тут надежда? Ни малейшей! Глеб чувствовал себя беспокойно. Что-то начинается, ясно. Надо понять, объяснить самому себе. Чтобы вышло по здравому смыслу. Но не выходит. Университетские студенты устроили демонстрацию. Нынче в раздевальной он слышал, что во дворе Университета сожгли кипу «Московских Ведомостей» — за что несколько человек арестовано. Ничего хорошего: сидят где-нибудь в участке, в грязи, с клопами. А может быть, и в тюрьме? Противно. Он им вполне сочувствует. «Но разве их выпустят, если и мы забастуем? Конечно, нет. Посадят еще несколько наших — и тогда еще кому-нибудь — студентам Петровцам, например, придется за нас заступаться».

Вернулась Таисия Николаевна, слышно ее торопливое ворошение в квартире. Верно, что-нибудь убирает, переставляет. На раздавшийся звонок отворила сама. «Ах, это вы, Сергей Дмитрич». Да, Сережа. Сквозь полуоткрытую дверь Глеб слышит их разговор, тоже нетромкий. «Я так вам благодарна, что вы вазочку склеили — отлично держится, а я уж думала, пропала: это память Михаила Акинфиевича». «Очень рад, Таисия Николаевна, что смогу, всегда с удовольствием». «Глеб Николаевич, кажется, заснул. Заходите лучше сюда, ко мне».

Глеб не спал, но не подал о себе вести. Лежа слушал спокойные голоса.

Вот взяли стул, переставили. Сережа влезает на него. «Так хорошо? Повыше?» «Выше и чуть-чуть вправо. Да, теперь отлично». Молоток забивает гвоздь. «Вы знаете, Таисия Николаевна, Университетские студенты начали бунтовать и нас подбивают. Завтра сходка». «Неужели вы тоже присоединитесь?» Сережа слез со стула, вздохнул. «Я, конечно, нет. Мне надо чертеж кончать, работы еще порядочно, а тут забастовка. Но как другие, не знаю. Завтра решится».

Глеб перевернулся на правый бок. Ну, разумеется, если забастовка, то из всех этих чертежей усердных студентов ничего не выйдет. «Какие там чертежи, зачеты? Ерунда!» Глеб нельзя сказать чтобы успокаивался. Скорее наоборот. И самый вечер, закат мартовский с Венерсю, засиявшей в огне, только мучил. «А если Сережа, и я, и другие все не сдадут чертежей, это тоже неважно». Он одновременно ощутил нелюбовь и к комитетчикам. и к добропорядочным юншам Императорского Техниче-

ского, ко всем подшипникам, зачетам. пунктирам, своим и сережиным тревоблениям.



На другой день Коровий Брод не совсем на себя походил. По Немецкой, по ближним переулкам проезжали на сухих лошаденках казаки. Конные полицейские в черных шинелях занимали перекрестки. Появились жандармы.

В Училище — точно бы пред поднятием занавеса: странный дневной спектакль. Вот-вот действие и начнется, а пока молодежь снует по корридорам и лестницам. Нельзя сказать, чтобы было покойно. Не видать прежних профессоров — лысых, седых. Они в сторонке. А волнение, возбуждение в глазах худощавых юнцов в тужурках с вензелями на плечах, с усиками, проборами на головах — головы же начинены технологическою премудростью.

И здесь, и в Университете, и по всей России бурлят они сейчас, бегают, волнуются. Собственно, что случилось? Будто и ничего. Кто-то где-то повздорил с начальством. Но вода закипает внезапно, тогда, когда невидимые силы поднатрели ее.

Как и другие, Глеб оказался в большой аудитории. Со всех концов входили студенты. Огромные подоконники, радиаторы, низ кафедры, все полно. В разных углах задымили. Бумажки тектографа ходили по рукам, путаный, возбужденный концерт-гул со сложнейшей гармонией стоял вокруг.

Он поприших, когда у кафедры, пред черной доской появилась кучка студентов: техники, но с ними и университетские.

Застучали, шум смолк. Выступил студент в очках, слегка подслеповатый, с лысинкою, в мягкой тулупе — и сам не первой молодости, и все на нем не такое юное. Говорил спокойно, точно читал лекцию. Рядом Клингер, дальше — вчерашний щеголеватый юноша и другие, Глебу неизвестные.

— Коллеги, студенчество Московского Университета обращается к вам с призывом поддержать наше движение, вспыхнувшее в связи с актами произвола и насилия правительства.

Глеб обернулся к соседу. «Кто это такой?» «Вы не знаете? Евстафьев, один из старост Университетских. Очень популярная личность». Глеб действительно не знал, чем известен Евстафьев и насколько он популярная личность. Но скромный его тон, близорукость, поношенная одежда не внушили неприязни. В чем состояли «насилие и произвол правительства» совсем было ясно. Да и Бог с ними. Евстафьев упоминал о «реакционных профессорах», мешавших жить «студенческим массам». «Оплоты реакции» подерживались «казацкими нагайками и городовиками». Против всех них и предлагалось выступить «единым фронтом всероссийского студенчества» — объявить забастовку.

Глеб слушал довольно холодно. Ближе сердцу было то, что какие-то студенты, сжегшие «Московские Ведомости», исключены из Университета и сидят под арестом — за них предлагалось заступиться. Если бы это рассказать простыми, человеческими словами, сочувствия было бы еще больше.

После Евстафьева говорил Клингер, все о том же, но грубее и резче. Холодные, судачьи его глаза не разогрелись, сальные волосы раздражали. Он до-

бавил, что «студенчество Технического училища, разумеется, присоединится. Не присоединиться могут только трусы и шкурники».

Эти слова вызвали волнение. «Вы задеваете несогласных с вами» закричали сбоку. «Шкурники всегда прикрываются идеями» ответил Клингер. Из дальних рядов крикнули: «провокаатор!»

Все повскакали, поднялся гвалт. Большинство аплодировало Клингеру. Но группа, теснившаяся вокруг плотного брюнета, стоявшего на подоконнике, упорно свистала. «Это оппозиция», сказал Глебу тот же сосед, который осведомил юб Евстафьеве. «Их лидер Андобурский».

Евстафьев звонил в колокольчик, юноша-адъютант с усами старался изс всех сил, стучал, махал рукой — как бы только утихомирить.

Наконец, Евстафьев смог произнести: — Слово принадлежит коллеге Андобурскому.

Опять поднялся шум. Часть аплодировала, большинство свистало и кричало: «Белсподкладочник, долой!»

Андобурский скрестил руки на груди, не без вызова, и выжидал. В эlegantной тужурке, белом крахмальном воротничке, с самоуверенным взглядом черносливых глаз, походил он на молодого инженера. (Глебу смутно вспомнился калужский Александр Иванович: «вам предстоит широкая дорога — железная»). Когда чуть стихло, начал:

— Господа, меня удивляет самая постановка вопроса. Смелость одних, якобы трусость других — это чистейшая демагогия. Нас хотят запугать словами.

— Долой!

— А между тем дело не в наших качествах, а в разумности или неразумности предлагаемых действий.

Андобурский был слегка бледен, но говорил уверенно. Видно, что говорить умел и любил слушать себя. Баритон его, с тем же черносливно-влажным оттенком, что и глаза, рокотал ровно. Его прерывали противники, аплодировали ему сторонники.

Ни баритон Андобурского, ни юсанка, ни довольно полный зад не понравились Глебу. А говорил он почти слово в слово то, что и сам Глеб думал. Конечно, ничем они товарищам не помогут. Училище только закроют. Если же не закроют, то часть студентов будет ходить на лекции и в чертежные. Многих зря повыгоняют, пропадет год работы... «Он совершенно прав», щелкнул рядом Сережа. «Глеб, мы с тобой то же самое говорим»,

Глеб помалкивал. Андобурский кончил под свистки, аплодисменты. После него выступали еще другие — одни за забастовку, другие против. Глеб все более нагревался. Ни та, ни другая партия ему не нравилась. А дело существенное — это он чувствовал. И как всегда — чувствовал, что сам должен что-то решить, сделать, оно и будет лучшим. Ему казалось, что он поступил бы и сказал разумней Клингера, разумнее и Андобурского.

Аудитория распалялась. Среди комитетчиков, взволнованных, распаренных, вдруг увидел Глеб длинные усы Артюши, его университетский мундир и дубинку на ремешке — видимо Артюша явился с запозданием. Пахнуло домашним — Лизой, Вилочксь, Арбатом. Глеб сразу ощутил, что должен высказаться. Вскочил, пробрался к кафедре. Изму-

ченный Евстафьев пытался навести порядок, но трудно было: говорило уже сразу двое. А тут еще Глеб просил слова. Артюша дружелюбно ему закивал. Евстафьев крикнул Глебу в отчаянии: «Коллега, вы же видите, что происходит!» И потом, в безотзывное пространство: «Коллеги, довольно! Президиум считает вопрос исчерпанным». Глеб перебил: «Нет, почему же, я тоже могу предложить...» Как и многие Глеб искренно думал, что вот именно он и скажет вполне правильно, но никто уже ничего не слушал, все орали каждый свое. Белобрысый студент рядом с Глебом кричал, что бастовать надо для того, чтобы добиться от правительства конституции.

Глеб раздражился. «При чем тут конституция?» «А при том, что царизм надо свергнуть». «Это глупо, разве мы сможем свергнуть правительство? И для чего?» Белобрысый студент крикнул, что поддержат рабочие массы. Глеб долдонил свое — нечто вроде того, что надо ходатайствовать за арестованных студентов — со-оральник вполне возмутился: не просить, а требовать. И вообще так могут рассуждать только белоподкладсчники и шкурники. «Маменькины сынки, боитесь бастовать, на второй год остаться, чертежей своих не дочертить...» «Я никакой не маменькин сынок и ничего не боюсь». Белобрысый продолжал громить врагов, принявших для него облик Глеба. Глеб побледнел, у него затряслись губы, перехватывало в горле. Припадки такие он знал — еще минута, еще градус и он просто вцепится в воротник этого болвана — как некогда, ребенком, сражался с Юзепчуком. «Шкурники все говорят, что не боятся, а дойдет до дела, и в кусты». «Я не шкурник...» Но белобрысый гремел уже что-то другому, а

с кафедры подхихикивали Глебу глазки Артюши. (Вот-вот, того и гляди пустится Артюша в самую неподходящую минуту в пляс. Гоп, мси гречаники, гоп мои...)

Все же наступило голосование. За забастовку — против. Бледный, злой, Глеб видел тоже бледного Андобурского во весь рост на подоконнике, к нему жались сочувствующие. Большинство теснилось к кафедре. «Я шкурник? Я боюсь чертежей и остаться на второй год?» Если бы Глеб в эту минуту был покойнее, он бы честно признал, что ему вовсе не хочется ни терять года, ни быть высланным — тем более, арестованным. А-а, но если он «шкурник», у которого нет никаких благородных порывов, который ничем не пожертвует для сидящих в тюрьме товарищей и только трепещет — тогда наплевать, вот именно он и покажет, он и скажет... Ничего он не боится.

Когда началось голосование, Сережа Костомаров, пробравшийся к Андобурскому, с изумлением увидал, что Глеб поднял руку — «да, быть забастовке» — близ самой кафедры. «Что с ним такое? С ума сошел?»

**
*

Глеб с ума не сходил, но забастовку поддержал. Если бы и не поддержал, она прошла бы: большинство было за нее. И аплодировало своей победе. Враги отступали. Андобурский взывал еще с подоконника, но уже тщетно. «Коллеги», крикнул Клингер: «забастовка начинается немедленно. Комитет сообщит профессорам. Студенчество не пойдет на лекции! Студенчество не должно ходить в чертеж-

ные, лаборатории. Мы клеймим именем шкурника того, кто нарушит волю студенчества».

Так как Глеб стоял у кафедры, Артюша без труда протиснулся к нему, обнял. «Я ж так и знал, что вы с нами! Молодчина, настоящий студент! Мы им теперь укротим хвоста!»

Кругом молодые, возбужденные лица. На многих тоже уверенность, что вот кому-то там («наверху») укрутят хвоста. Одним словом, праздник!

Глеб точно бы перескочил через что-то — прыгнул и теперь летит, как во сне прыгают с четвертого этажа: легко, приятно и не расшибешься.

Артюша подтащил его к Евстафьеву, представил. Евстафьев добродушно улыбнулся, отирал платочком пот с лысины. Глеб чувствовал, что уж он здесь свой, в каком-то потоке, молодом и бурном. Подходили студенты, точно уж давно знакомые, чуть ли не друзья. Даже Клингер не так показался неприятен.

— Коллеги, в чертежную! Выбирать старост, десятских!

Через несколько минут Глеб в чертежной. Вот он в самом ядре, это ближайшие забастовке люди, здесь в несколько минут выбраны старосты, налаживают и десятских. У каждого свой десяток, десятский должен обходить подвластных, убеждать чтобы держались твердо, объяснять смысл забастовки, и так далее. «Коллега, вы согласны стать десятским?» Глеб замялся. «Сумею ли...» «Тут уметь нечего, надо быть убежденным и не боятся. Шкурникам, белоподкладочникам мы и не предлагаем».

Какой же Глеб шкурник? Или белоподкладочник? Кто посмел бы это подумать? И хотя он не

уверен, удастся ли ему... у него нет опыта... — но уже пессимно. Он серьезный студент, «сознательный», «нам такие именно нужны».

Недалеко столик, где распределяют десятских. Пришлось подождать в очереди. Бритый студент в пенсне, довольно строгий, записал его адрес в целую колонку других. Самому же ему дал бумажку, на ней десять фамилий, тоже с адресами: подчиненные его, подопечные. Он пастырь, они овцы. «Не забудьте, центр связи — коллега Клиnger. Немецкая, дом Шапошникова». Глеб понял — у Клингера главный штаб, туда надо являться, сообщать о десятке, получать указания.

Пока же дела никакого. Глеб спрятал свою бумажку, потолкался в толпе, вышел из Училища. Студенты тоже расходились. Теперь все здесь умолкнет, а если кто-нибудь попытается прийти — на лекции, в чертежные, — то особые группы будут стеречь: не пустят.

Странно все, странно. Вот проезжают на рыжих лошадях синие жандармы. Два часа назад это просто были жандармы. Теперь враги. Враг будет и Сережа Костомаров, с которым вместе учились в Калуге — если вздумает взяться за свой чертеж. А друзья — Артюша, Евстафьев, Клиnger... еще разные. Ну, а этот его «десяток»? Фамилии все незнакомые. Он должен их убеждать. Убедит ли? И как это делается? А если они вовсе не хотят ни бастовать, ни поддерживать, ни бороться с правительством? Все равно. Надо пробовать. Трусов-то и маменькиных сынков всегда достаточно. И при этом, бастующие заступаются за арестованных товарищей.

Домой пришел он в некотором возбуждении.

«Забастовка-то пришла», сказал Таисии Николаевне. «Прошла?» «Огромным большинством. Чертежные, аудитории, все закрыто». Таисия Николаевна взглянула на него с осторожностью. «И что же, долго будете бастовать?» Глеб нервно улыбнулся. «Не знаю, ничего не знаю». В улыбке его была и черта таинственности: как один из главарей, он ничего не мог разглашать — мог знать (но не знал), а молчать должен. Да, несомненно он теперь тот Глеб, что прожил уже восемнадцать лет на белом свете, занимался рисованием и акварелью, и вот в дневники что-то начал записывать.

После обеда дома оставаться не захотелось. Он взял записку с адресами. «Сюда зайду, около Разгуляя... а тут на Новой Басманной, какой-то Судаков — и к нему...» Остальные в других направлениях: на Немецкой, на Камер-Коллежском валу, где-то около завода Гужона, на Золоторожской... Нет, туда сегодня не хочется, это такие трущобы. Завтра. А с Новой Басманной можно на конке проехать в центр, там пешком до Арбата — сразу представилась светлая квартирка Лизы в четвертом этаже: свое, родное.

Адрес около Разгуляя нашел Глеб скоро. Сolidный дом, хорошая лестница. Отворила нарядная горничная — молодого барина нет дома. Ну, что же поделывать. Вечером? — Лучше уж завтра утром: вернее.

На Басманную Глеб прошел пешком, в настроении бодром. Странно, конечно: ходит по незнакомым... — проверяет, научает? Во всяком случае, ни на что прежнее непохоже.

Судаков оказался немолодой одинокий студент угрюмого вида, снимавший комнатку «во дворе во

флигеле». Принял Глеба хмуро. На столе лежало «Сопротивление материалов» — развернуто на 59-й странице. Стоял стакан недопитого чая. В комнате серо, накурено, кровать под коричневым одеялом, на стене гитара. Судаков сразу же, решительно отказался. Нет, нет и нет. Довольно с него. Из Технологического выгоняли, из Межевого... — теперь пора и учиться. Покорно благодарю. Он даже взволновался, плохо бритое его лицо покраснело. «Можете меня считать за шкурника, за кого угодно...» Глеб растерялся. «Нет, что вы... тут свобода мнений... мы никого не принуждаем».

Вышел в настроении смутном. Свобода мнений... Но, конечно, он и убедить его не сумел, даже не пожелал. Десятский! Это и есть его занятие? Слава Богу, на сегодня довольно. К Лизе!

Медленно ползла конка по весенним улицам Москвы. Около Университета стало попадаться больше студентов — бродили они не совсем обычно: кучками. Кое-где проезжали казаки.

У Лизы отворила дверь Вилочка. Увидев Глеба, слегка вспыхнула, хмыкнула носом — нос тотчас покраснел. Лиза играла на рояле. Рядом сидела высокая, довольно полная девушка в мелких светлых кудрях. Она следила по нотам и перевертывала страницы...

Лиза Глебу обрадовалась. Музыка прервалась. «Вот хорошо... Я как раз о тебе думала. Ну, как ты? Что у вас там в Техническом?» Глеб поцеловал ее. «Мы бастуем, тоже». «Я так и знала. Да, вот познакомьтесь Лера, это мой брат Глеб».

Глеб поклонился. Лера не спеша протянула ему руку. Стройное, но и пышное ее тело плавно двину-

лось. Она была в голубоватом легком платье. Очень большие, шелковисто-серые глаза, прозрачные и покойные. И волосы ее легкие, самовольно и круто вившиеся, вольно простирались.

Музыка не возобновилась. Разговор сразу перешел на события. Лера сложила ноты. Слушала, но не вмешивалась.

Глеб попал здесь вполне в тот же воздух, что и в Техническом. Лиза и Вилочка были за студентов, за забастовку. Лиза особенно волновалась. «Ты знаешь, это такое насилие правительства... они сожгли «Московские Ведомости», а их за это в тюрьму... и говорят, полиция избивает. Могут в Сибирь сослать». У Вилочки покраснел нос. «В Сибирь не в Сибирь, а некоторых наверно выгонят. Смотри, Лиза, как бы не Артемия».

Глеб сказал, что сегодня видел Артюшу — он пока цел. Лиза опять заволновалась. «Да, но ты знаешь, он ведь в самом пекле. В Университетском забастовочном комитете. И он такой горячий...» «Я тоже в Комитете», скромно сказал Глеб. «Не в центральном, но у нас в Училище».

Скромность была не вполне скромная. Глебу очень нравилось предстать перед барышнями в виде воина. Он даже слегка задохнулся — и лавр сорвал. Вилочка пробормотала: «Разумеется, настоящий студент и не может иначе».

Лиза весело тряхнула чолкою — будто в волнениях за Артюшу ее утешало поведение Глеба.

— Ты всегда был такой консерватор... А теперь вместе со всеми, отлично.

Лиза не договорила, но могла бы добавить: вме-

сте с Артюшей и его друзьями — с истинными борцами за прогресс и просвещение.

Лера сидела покойно. Незаметно, чтобы участие или неучастие Глеба и Артюши в забастовке сколько-нибудь ее занимало. Она поднялась.

— Значит, мы в четверг будем разучивать эту арию?

Лиза рассеянно ответила:

— В четверг... да. А почему же вы уходите?

— Мамап будет ждать. Она такая нервная. И кроме того, она говорит, что теперь скоро начнется бунт.

Лиза и Вилочка засмеялись, как две вполне современные и прогрессивные барышни.

— Ах, Лера, как это ваша мамап еще пускает вас сюда?

Лера тоже засмеялась — довольно милым, как Глебу показалось, смехом.

— Мамап и бсится, это верно. Но я утешаю ее тем, что мы кроме музыки ничем не занимаемся.

Глеб пожал на прощанье ее руку — нежная, как бы тепло-пахучая волна прошла по нем. Он улыбнулся — не зная чему. Лера тоже улыбнулась — плавной походкой своею ушла.

— Она немного поет, — сказала Лиза. — Мы ей аккомпанируем инсгда. Дома у них скучища, вот она к нам и ходит. Мамап, рара... смешные. Он председатель суда, по гражданскому отделению, а мать такая.. знаешь, в кудряшках, на овцу похожа. Тонная дама, с французскими фразами. Государь Император, визиты... Но не шикарные совсем. Живут в небольшой квартирке, на Волхснке.

— Мать дура ужасная, — добавила Вилочка. — Впрочем, и Лера не далеко уехала.

Лиза улыбнулась.

— Ничего, мы к ней привыкли. Да и держится она с нами очень мило.

Глеб посидел у них, но недолго. В передней Лиза поцеловала его.

— Глеб, а если тебя арестуют?

Вилочка вспыхнула.

— Лиза, не каркай.

Глеб с видом философа надел студенческую фуражку — что же, чаша с цикутой не так страшна.

— Арестуют так арестуют. Значит, судьба.

С тем и ушел. И неторопливо направился по Арбату, мимо Николы Явленного, Арбатскою площадью, по Воздвиженке к Университету. Мартовский закат пылал за Дорогомилевым — один из романтических закатов Москвы, весеннее ее сияние, не в первый раз сиявшее, Глебом в первый раз принятое. Московские закаты, юность, тревожнения! Вот он шагает по Воздвиженке, близок угловой «Петергоф», направо, за стеной, Архив Иностранных дел, в розовом небе голы еще ветви тополей в саду его. Прямо подъем в Кремль, Кутафья башня, в Кремле слепительно горит стекло в здании над стеной. Горят золотые купола, кресты. Там, правее, за Моховой Волхонка. Там именно эта Волхонка с тапан, тесной квартирой, юристом-отцом.

А надо сворачивать влево. Пройдешь мимо Нового Университета, на углу образ св. Татианы с лампадкою, украшает он полукруглое здание. На той стороне Манеж — низкий, тяжело-неуклюжий. Сюда загоняют бунтующих студентов — кроткая Велико-

мученица прямо на них смотрит. «Арестуют так арестуют» — сказать пред барышнями легко, а собственно, радости нет. Какая радость? Вот так бы идти, мечтательным вечером, задумчивым юношей — это дело. А сесть в тесноту, за решетку, в компании Клингеров, других разных?

Стало тоскливо. Ах, как все странно! Завтра опять ходить по десятку, звонить у неизвестных подъездов, разговаривать с людьми, которые может быть, вовсе не желают тебя видеть?

Все равно, взялся — мудрить поздно. Глеб вскочил на конку — неторопясь погромыхивала сна в края Гаврикова переулка.

**
*

«Молодой барин» около Разгуляя оказался изящным юношей. Он встретил на следующее утро Глеба любезно, во всем с ним согласился — будто остался даже доволен, что не надо ходить на лекции и в чертежные: да, он тоже за забастовку! Если бы Глеб знал, что зимой занимался он преимущественно бегами и опереткой, к экзаменам вовсе готов не был, сочувствие это еще менее удивило бы его. Вот и белоподкладочник, а поддержал.

От него Глеб отправился по другим. Кого заставлял, кого нет. Большинство забастовке сочувствовало. Глеб держался серьезно, говорил везде приблизительно одно и то же и с каждым новым повторением оно меньше ему нравилось. Он был согласен с тем, что говорил, но хотелось ли ему говорить, кого-то убеждать? Да и слова, которые произносил — принадлежали ли именно ему? Был ли он сам сейчас вполне Глебом?

Вернулся домой в настроении смутном. Поел один, зашел к Клингеру. Табачный дым, суета. Дали еще новые адреса: «коллега, потрудитесь обойти и этих» — значит, опять шатание... Вот так день! Будто и наполненный, минуты свободной нет. Да... но все-таки...

Таисии Николаевны вечером дома не оказалось. И Сережа не заходил. Ну, да что же Сережа, Таисия — это обычная жизнь, каждодневная, а теперь началась новая, новые люди, иной воздух, вот и он сам чем-то другсй.

Ночь спал неважно — нервно, все просыпался, все щемило что-то сердце. Вспомнил мать, Балыково. Вот где сейчас покойно! Мать раскладывает пасьянс, отец набивает папирсы. Пожалуй началась тятя...

Встал мало отдохнувший. После кофе спать тронулся. «Обойду этих — и будет. Что это, правда, подряд взял?»

Идти довольно далеко — на Золоторожскую. В неприглядном домишке отворили не сразу. Вышел студент в пенсне, косоворотке, встревоженный, недовольный. В полуоткрытой двери, в глубине, мелькнули профили в пиджаках и тужурках — синий табачный дым, как вчера у Клингера, окурки. Дверь быстро захлопнули.

Глеб объяснил цель прихода. «М-м, вас послали!» «Да, вот ваш адрес». Хозяин сжал узкие, сухие губы. «Вижу. Болваны!» Глеб не знал что сказать. Но неприятно себя чувствовал. «Может быть, это ошибка?» «Не ошибка. Разумеется, я Кропотов. Но скажите посылавшим вас, что они ослы. К Кропотову с такими глупостями не посылают! Вы первокурсник? Ну, конечно, вы и непричем, а они дол-

жны знать...» Тон его был такой, что вот полный генерал получил бессмысленную бумагу от каких-то прапорщиков. Как же не возмутиться! «А теперь, извините, я занят».

Глеб вышел несколько раздраженный. Какой-то знаменитый Крпотов, матерой волк революции, с которым первокурснику и разговаривать невозможно! Пожалуй, он сам вроде вождя, заместитель или председатель, а к нему разлетелись. И что это за подозрительные субъекты у него? Тайное заседание?

Для следующего адреса надо было пересечь пустырь — здесь называли его «Плац». Вдали Анненгофская роща, справа завод Гужона — там делают гвозди, катают рельсы. А на плацу никого. Глеб шел тропкой, завод гремел вдали, но это не было милое Людиново. Ни леса, ни озера! Пустыня, вагонетки, шлак. Визжит железная пила, дым валит из огромной трубы. Стеклоанная крыша мастерской осветилась снизу: выпускают расплавленную сталь.

Опушка рощи — песочные ямы. Вроде пещер. Валяются пустые жестянки, клочья газет. Сосны гудят. Темные типы бродят здесь вечерами — женщинам лучше подальше от этих мест.

Тропка вывела, наконец, начавшимися сгородами, близ какой-то ограды, не то кладбищенской, не то церковной, на мост. Внизу дорога. Тут опять окраина города — домики. И застава.

Глеб сел на перила моста. Теперь сзади, там вдалеке и завод Гужона, и Кропотов со своими заповорщиками. Вдаль, за город идет шоссе. Более знаменитое, чем Кропотов. Владимирка! Глеб знал, что это такое, но сегодня в первый раз увидел —

обыкновенное шоссе, правее Анненгофской рощи. И так вот сотни верст, по нем пешечком, с кандалами на ногах, в Сибирь! Кандалы звякают, конвойные идут, тянутся лесочки и овраги.

Что за мрачный край, лачуги, ямы Анненгофской рощи, унылый постоянный двор у заставы: там узенькие бочки для вывоза нечистот, «тараканы». Оксолом них копошатся убогие золотари.

Глеб соскочил с перекладины. Почему он тут, хмурым утром, с тучами и воронами, заводом Гужона, свистками паровозов Курской дороги? Задворки Москвы, Владимирка... — ни луча, ни просвета! Что такое? Что за занятие? Вновь идти, по какому-то еще адресу, разыскивать еще одного студента? Какая ложь!

От Измайловского зверинца трусцой возвращался в город по Владимирскому шоссе извозчик. Пролетку потряхивало. Она миновала прибежище тараканов у заставы — на мосту худенький молодой человек в форме Императорского Технического крикнул:

— В Гавриков переулочек! Полтинник!

Извозчик остансвился.

— Пожалуйте.

**

Ну вот, опять своя квартира, корридор, комната. В кухне копошится Анфимьюшка. Таисия Николаевна вышивает в столовой. Нехитрый очаг, немирный, с ним отчасти уже сжился — никаких Кропотовых и Клингеров.

Нет, больше никуда не идти, ни с кем не раз-

глагольствовать. Бастуют, не бастуют, Бог с ними. В Училище он не пойдет, к Клингеру тоже — просто будет персидать: чемнибудь все это да кончится.

После обеда Глеб даже заснул, в первый раз теперь очень покойно, будто в маленькой комнате с белыми занавесками дома в Балыкове.

Он провел так, в тишине и стыхе, два дня. Записал кое что о том закате, когда шел от Лизы по Воздвиженке. Пробовал изображать словами цвет облаков: не то, чтобы удалось, все же приятно было вновь пережить тот вечер, из-за облаков виднелась и Лера с нежно-электрическими кудреватými волосами, мягкостью, полнотой легкого тела. Вспоминая о ней Глеб улыбался.

Заходил и Сережа. Глеб с ним был мягок, приветлив. О забастовке почти не говорили. Никаким ьрагом для него Сережа не оказался, напрстив, чувствовал он его более своим, чем ранее, калужским. Даже Таисия Николаевна стала ближе. И когда предложила сыграть в преферанс, Глеб охотно согласился. В комнате ее, под голубым висячим фонариком Глеб, Сережа, хозяйка мирно записывали мелками на зеленом сукне Михаила Акинфиевича, сдавали, назначали игру. Можно было подумать, что нет ни забастовок, ни комитетов, ни землячеств. Россия тихо псхрапывает.

Однако, на другой день Таисия вошла в комнату Глеба озабоченная.

— Ах, знаете, как все это выходит неприятно...

— Что такое, Таисия Николаевна?

— Да уж все, главное...

Нынче она не робела, усевшись смстрела на него взором пристальным, почти материнским.

— Глеб Николаевич, скажите, вы ведь в этом... в бунте тоже принимали участие?

Глеб улыбнулся.

— В забастовке?

— Как хотите называйте, все-таки против правительств.

— Да, принимал. Но перестал принимать. Видите, сижу дома.

— Теперь дома, а тогда... Ну, конечно, сгоряча. Я ведь постарше вас, многое понимаю. И не хочу, там, осуждать, или спорить, а для вас получается, все-же, не так выгодно.

И тем же серьезным, обеспокоенным тоном рассказала Таисия, что сегодня встретила кума, приятеля покойного Михаила Акинфиевича. Он пристав их части. «Кума, говорит, я вам по старой дружбе: насчет вашего жилья. Ведь он в комитете! К нам все ихние списки попали и такое распоряжение: у всех обыски произвести, кого арестовать, кого нет, смотря найдем ли что при обысках и на каком кто счету у полиции»... Расспрашивал о вас, я понимаю с лучшей стороны отзывалась, но обыск все равно будет, так приказано. Глеб Николаевич, очень вас прошу, если есть что, уничтожьте, или мне передайте, я спрячу.

Глеб поблагодарил. Нет, ничего нет. Ну, тем и лучше. «Никита Степаных сказал, что конечно уж потревожат ночью».

Когда Таисия вышла, Глеб все-таки стал перебирать вещи. Уничтожил адреса своего десятка, сжег и две три бумажки, напечатанные на гектографе. По наружности старался быть покоен, даже пред самим собой. Но покоя не было. Обыск, поли-

ция... — бесславный конец странного его занятия последних дней.

Эту ночь мать спокойно спала в Балыкове, сном некрепким, но не смущенным: ни она, ни отец понятия не имели, что в Москве беспорядки, беспорядки в Техническом — и всего меньше могли бы поверить, что сынсчка сам в них участвует. А представил ли себе, что глухой ночью, в четвертом часу, квартальный Савелов, помощник Никиты Степаныча, с двумя городовыми и прыщавым «сотрудником» (в штатском), звонят в сыночкину квартиру, входят и прямо идут к глебовой комнате?

Никита Степаныч не пожелал явиться к куме. Савелов был заспанный и недовольный, тощий и невнушительный полицейский, из непреуспевающих. Вяло сидел в глебовом кресле, просматривал его паспорт, документы. Сотрудник выворачивал письменный стол, рылся в книгах, перелистывал их. Скучно горела лампа. Глеб, бледноватый, с натянуто-надменным видом готов был каждую минуту возражать, защищаться, если бы его задела. Но никто не задевал. Никому даже интересен он не был.

«Сын горного инженера... Симбирское дворянство... переведен и приписан к Калужскому, окончил Реальное Училище первым»... — Савелов зевал. Третью ночь приходится возиться с этими обысками, шататься по разным студентам. «И чего они лезут? Выросли барчуками, маменькиными сынками, выходить должны в инженеры. Папашка, небось, тысячи загребает, вроде нашего Никитки. Ну, у того жалование, а наш прохвост купцами кормится да бандершами. Эх, жизнь!»

В шесть все кончилось. Листки писем валялись

по полу, газеты. Книги все вверх дном. Ящики стола выдвинуты, комод раскрыт, перерыта постель. И Савелов и сотрудник понимали, что искать нечего, все же стиль сохранить надо было.

С собсю не увели. Но взяли подписку: о перемене жительства должен сообщить.

Через два дня Императорское Техническое было открыто. Полиция охраняла входы — ничего не осталось от пикетов забастовщиков. Сережа тотчас отправился кончать чертеж. Из вывешенного списка он узнал, что вместе с другими «зачинщиками забастовки» Глеб из Училища исключен.

III

Таисия чувствовала за Глеба ответственность. В ее доме молодой человек должен произрастать солидно. «Из хорошей семьи» — тем более. Правда, Глеб за зиму не разочаровал ее — но вот теперь какая история! Что подумает его матушка? И не выйдет ли, что и она, Таисия Николаевна, в чем-то виновна? Не досмотрела! Подумать: полиция, обыск... У нее в квартире. Какая неприятность! Конечно, он не ребенок, и вот товарищ-то его сразу понял, чего стоит вся эта забастовка. Но... — перед родителями будто и она в ответе.

Правду говоря, Глеб и сейчас удивил ее. Со странным спокойствием, точно и не о нем речь, заявил:

— А знаете, ведь меня исключили.

Она ахнула.

— Что же вы теперь будете делать?

Последовал знаменитый российский ответ:

— Ничего.

— Может, прощение подать? Кто-нибудь бы хлопотал у начальства... передумают, простят?

Простят! «Достойная женщина, но не весьма сообразительная», говорил покойный Михаил Акинфиевич — более сообразительная такой вещи никогда Глебу не предложила бы.

Он, разумеется, не так уж был и покоен. Выгнанный студент! Раньше и в голову не прихотило. Но надо держаться, показать нельзя. Жаль ли самого Училища и дела? Нет, нисколько. А учиться надо, что-то делать надо. Глеб молчал, скрывал, томился. Отец любил выражение: «недоросль из дворян». Вот он теперь и есть такой недоросль.

Домой написал письмо равнодушное, ясное. Была в Училище забастовка, как и другие, он не ходил, его исключили. (Ничего особенного! Исключили и исключили).

Отправляя послание, меньше всего думал о том, какое впечатление произведет оно на родителей. Родители — нечто общеизвестное, главное их занятие — любить Глеба, помогать ему в жизни, устраивать, налаживать. Родители созданы для его благоденствия — это бесспорно. Сами по себе они значения не имеют.

Опустив письмо в ящик, отправился на Арбат.

Лизу застал в тревожении. Увидев его, она чуть не заплакала, обняла, поцеловала.

— Ну, слава Богу, хоть ты цел.

Вилочка сказала довольно твердо:

— Знаете, ведь Артемия взяли.

Лиза отошла к окну, глаза ее налились слезами.

— Это такая жестокость... они сидели в Манеже... с ними так грубо обращались... а теперь... разослали по тюрьмам в провинцию.

Дальше говорить было трудно. Лиза не любила плакать на людях, выскочила в спальню.

Вилочка относилась шокснее.

— Все волнуется. Бегают по разным жандармам, охранкам, в университете разузнает. Артемия с це-

той партией отправили в Нежин. Вы знаете, что она надумала? К нему собирается, навестить! Ей кажется, что уж его на каторгу сошлют, вообще всякие страсти. А я уверена — она понизила голос: что его никуда не сошлют. Вообще все это она преувеличивает. Ну, а вы? Как вы? Слава Богу, на свободе?

Глеб ответил, все с тем же не вполне естественным спокойствием, что его исключили.

Вилочка вспыхнула.

— Это ужас, это ужас! Что же вы теперь будете делать?

Она совсем взволновалась. Даже нос ее покраснел. Отворила дверь к Лизе.

— Слышишь, Глеба Николаевича исключили из Технического!

Лиза вышла с мокрыми глазами и посочувствовала. Но так же была вне глебовых несчастий, как Вилочка вне артюшиных.

На Глеба известие об отъезде ее подействовало.

— Ты в Нежин собралась?

Лиза молча кивнула.

— Что ж ты там будешь делать?

— Постараюсь его увидеть. Они все в тюрьмах сидят, как разбойники. Такие несчастные.

Лиза сдержалась, на этот раз не заплакала. Глеб смотрел на нее. Да, это она — маленькая и худенькая, она-то и поедет. Эта не выдаст. «Несчастные...» — где несчастные, там уж и она. Так в детстве было, с хрымыми цыплятами, больными детьми на деревне. И теперь то же самое. Нежин, тюрьма, полицейские...

У него дрогнул голос, когда он спросил:

— Скоро трогаетесь?

— На этих днях. Как только из Консерватории отпустят.

— Да, Лиза, сказала Вилочка: Лера оставила тебе двадцать рублей. Тоже хочет помочь. «Только, говорит, чтобы татап не узнала, что это на поездку к ссыльным. Так что у тебя теперь шестьдесят.

Глеб удивился — не скрыл этого. Собирают на дорогу, почему же к нему не обратились? Кажется, он брат, ближайший человек. Вилочка засмеялась. «Да у вас у самого наверно ничего нет!» «Откуда вы это знаете?» «Ну, так подумала — вы же студент». Но настаивать не стала. Почувствовала, что Глеб взволнован, вот-вот и обидится.

Двадцать рублей он выложил тотчас. Вилочка осталась довольна.

— Больше чем достаточно.

*
*

Когда жалела, Лиза не могла уже ни с кем считаться. О н и все там в беде, заточении, Артюша тоже, значит, страшно или не страшно, есть деньги или нет, ехать надо. Просто — не поехать невозможно. И Лиза Вилочки не послушалась (та вначале ее отговаривала). Не послушалась бы и матери, отца, если бы те были тут.

Путешествие началось. Никакой суетни, в пору приехали, в пору сели в вагон: дамское купе второго класса.

Место у окна, две приличных соседки. Второй звонок. Глеб и Вилочка на платформе, у окна, в свете дня весеннего; а там и третий. Поезд трогается, вокзальная толпа ушла. Во втором русском

классе, неторопливо погромыхивающем, катит Лиза мимо Андрониевского монастыря, мимо завода Гужсна, где недавно бродил Глеб, в дальний путь через Тулу, Орел, Курск. Лиза смотрит в окно. В сумочке на груди восемьдесят рублей, все внутри напрядено и собрано, полно силы, порядка. Лиза весел не чувствует, что ни сделает — самый пустяк — все легко. Дальше, дальше, вперед. Все не зря. Все не зря.

Роши Подольска, Лспасня Чехова. Лиза лежит на диванчике второклассном, он в полосатом чехле. Вагон идет мягко, соседки болтают. Соседкина сумка, подвешенная на крючке, покалыхивается, неторопливо подрагивает. В Серпухове пересекает Лиза Оку.

Тула, Мценск, Орел — та же средняя Русь. Ночь — на том же диванчике, при заснувших соседках, задернутой свече фонаря над дверью, в тепло-душоватом воздухе. Лиза спит крепко. Поезд несет ее, поезд несет. Маленькая рука, для которой трудны октавы, придерживает и во сне сумочку на груди. Да никто и не тронет.

В Курске ей пересадка — новсе купэ, новый молодой сон. Начинается страна Гоголя — зеленая мощь, белые хаты, тонкие тополя. Лиза не видит их, но уже дышит воздухом Малороссии. А Нежин является в сиянии утра. Невысокое здание, жандарм и начальник станции в красной фуражке. С нехитрым своим чемоданчиком Лиза выходит. Новый мир. Он хватает сейчас же своей лапой — добродушной и теплой. Как блестит солнце! Какой крик на базаре! Какие хохлушки, в монистах, запасах, здсровенные, белозубые!

Лиза сильно здесь выделялась по виду — московская барышня, по столичному и одетая, худенькая, хрупкая. Но не робела. И край этот, домиков с садами, в цветущих вишнях, сливах, с деревянными заборами, не был враждебен. Впрочем, если бы и враждебен — все равно, теперь поздно. Она взяла комнату в первой попавшейся гостиннице. Пила чай с удивительными сливками, пуховым белым хлебом.

А потом вышла на базар, спросила где тюрьма и неторопясь, тсчно шла за покупками, под плавным солнцем, сквозь толпу хохлацкую направилась к этой тюрьме. Так же мало себя ощущала, Лизу, как и когда ехала. Так же катила по рельсам, а юни уж вели куда надо. Привели в самый обыкновенный острог, столько русских городов украшавший на окраине их: тяжеловесное здание с оконцами в решетках. За решетками вечные «несчастненькие» — на вечерней заре выезжающий в тарантасе из города, взглянув на окна острога, где блеснет луч закатный, вздохнет, погружаясь в вольные поля.

Лиза прошла в низкую комнатку, вроде канцелярии. Она не вздыхала, ей просто нужен начальник тюрьмы. Из другой комнаты вышел тощий старичек, его можно было принять за инвалида.

«Я хотела бы видеть Артемия Грищенко, студента из Москвы. Он у вас, среди политических». Старичек удивился. «А вы кто же будете? Почему о нем спрашиваете?» «Я его невеста». «Невеста». Он застегнул пуговицу на тужурке, поправил худородный седой ус. «Что же это вы, из Москвы к нам?» «Из Москвы». Голубоватые его глазки на морщинистом лице, запеченом и несколько не грозном,

выражали удивление. «Как далеко»... Лиза тихо сказала: «Я хотела повидать жениха».

Старичек слегка фыркнул. «А ведь свидания не разрешаются». «Я так долго ехала»... «Ехала зря и доехала, а я что ж могу поделать, когда такой порядок? Нету с ним свиданий и все тут!» Лиза молчала. Она стояла тихо, упорно. И не боялась. Старичек был недоволен. Морщинки на лице собирались, разъезжались. Он вынул бумажку, полсжил табачку, свернул; проведя языком по бумажкину краю склеил. Потом вдруг отошел от двери. «Пройдите сюда». Лиза покорно вступила в корридор. Из окна виден был двор. Солнце затопляло его, воробьи заливались на крыше. Старичек закурил. «Как фамилия-то? Жениха-то». «Грищенко, Артемий». «Я не могу вам дать свидания». «Дайте, пожалуйста». Старичек пустил дым ноздрями. «Я не могу вам дать свидания, но никто не может помешать мне вызвать к себе на квартиру студента Грищенко. Решительно никто не может. А квартира моя вот — пожалуйста в эту дверь».

Лиза вошла в небольшую комнату, вроде гостиной, с фикусами в кадках, зеленой ползучей «бородой». Кот важно пршшелся по половичку. Портрет Александра Второго смотрел со стены — пробритый подбородок, бакены, гусарский ментик.

Окно с фуксиями на подокснике тоже выходило во двор. Через несколько минут стайка воробьев, веселившихся и клевавших посреди двора, в травке между неровными булыжниками, шумно взлетела — прямо на них шел студент в серой тулурке, с бсбриком на голове, длинными горизонтальными усами. Он пересек двор, слышно как отворил дверь, вошел.

Лиза одна была в комнате. Кот сидел на солнышке, грелся, умывался лапкой. Император продолжал быть в ментике.

— Лиза!

Артюша присел, ноги его растопырились, а потом кинулся он к ней, в первую минуту ничего даже не могли они сказать друг другу — в слезах, путанных восклицаниях — «да как! да ты, тут! Вот так раз...» Старичек позволил им провести вместе четверть часа.

**
*

Каждый день отправлялась Лиза в тюрьму к старичку — имя его Иннокентий Иванович. Каждый день приходил к ней Артюша, все в ту же комнатку с Александром Вторым. Солнце украинское так же веселило воробьев, радовало кота и мух. Лиза питалась не солнцем, но любила его, как и Малороссию эту полюбила, базар, хохлушек, хохлов с усами Тараса Бульбы, торговавших дегтем, горшками, колесами — мало ли еще чем! Проходя базаром, вспоминала «Сорочинскую ярмарку» и отца, в Устах, читавшего им вслух: «чого нема на тий ярмарци! колеса, скло... тютюн, крамари всяки...»

Питалась же она собой. В ней жило чувство крепости, силы, она знала, что вот надо так, и хорошо — жить в маленькой нежинской гостиннице, бродить по базару, болтать с хохлушками, скоро прснюхавшими, что у ней жених ссыльный — сочувствовали, главное же хорошо: в комнате старичка Артюша; простые слова, но милые, в свете. Лиза чувствовала, что и собою питается. Чем больше питала, тем больше возрастала в ней самой эта пища.

К Иннокентию Иванычу очень привыкла. Точно свой, дядя, дедушка. А подумать только: начальник тюрьмы!

«Иннокентий Иваныч, разрешите мне нынче побыть полчаса!» Начальник тюрьмы пофукивает. «Да вы и так полчаса бываете». «Нет, меньше. А нынче хочется...» «Вам всегда, разумеется, хочется. Из Москвы в Нежин приехала, значит, треба видети. Полчаса, полчаса... Ну, Бог с вами. А когда-нибудь влетим мы юба».

Иннокентий Иваныч хоть и начальство, но не единственное. В тюрьме бывает и прокурорский надзор, и полицмейстер. Лиза довольно скоро в этом убедилась — как и в том, что не все похожи на Иннокентия Иваныча.

На шестой день, подходя к тюрьме, увидела пролетку, парю на пристяжку. Все блестит, лоснится, кучер нарядный. Прошла мимо, в ту же дверь как всегда. «Нет, нет, нынче нельзя, полицмейстер здесь, уходите». Иннокентий Иваныч был смущен, раздражен. Лиза покорно исчезла. Недалеко от тюрьмы эта же пара на пристяжку обогнала ее. Высокий человек в полицейской шинели, с темными бакенбардами, крепко сидевший в пролетке, посмотрел на нее внимательно.

Вечером вновь зашла. «Влетели, матушка, влетели! И чтоб духу вашего тут больше не было. А то с жандармами в Москву отправят, да и меня по словке не погладят». И Иннокентий Иваныч сообщил, что все открылось — полицмейстер знает, что она приехала, недоволен, велел и в канцелярию не пускать. Да и все равно, она жениха больше не увидит:

завтра студентов отправляют в Чернигов, тоже в тюрьму. А там будут сортировать. Кого куда.

У Лизы ноги похолодели. «А в Сибирь могут?» «Куда захотят, туда и могут. А я ничего не знаю-с, ничего... я должен завтра всех их новому начальству сдать».

Лиза провела тягостную ночь. Неужели даже не простится с Артюшей? Вспоминая его бобрик, простенькие, но такие милые глаза (он смотрел ими на нее как на мать, на заступницу), Лиза плакала молча, в тишине непрsvетренной нежинской кемнаты. Нет, все-таки она его увидит! Поезд в Чернигов уходит в десять — надо явиться на вокзал. С тем под утро она и заснула, с тем и день провела: но ни дня, ни се не было, был впереди только вечер.

А к вечеру гроза грянула, зеленые молнии ломали небо, белый дождь хлестал, малороссийский Нежин весь кипел, пенился в пузырях и брызгах. Разбушевaлась Хохландия. Но к восьми смолкло, дождь перестал.

Расплатившись в гостиннице, Лиза в десять без четверти вышла с саквояжем своим, так же тихо и деловито, как сюда ехала — направлялась к острогу. Уже сильно стемнело. Никого! После дождя лужи, грязь. Пред знакомым зданием тоже темно — керосиновых своих фонарей еще не зажигал город Нежин, да если бы и зажег, мало от них радости.

Лиза так и ходила, неприкаянной тенью, взад и вперед по тротуару напротив, пока в сумрачном здании медленно, скучно делалось свое дело. Хрюдили, ругались, выстраивали во дворе арестантов. Винтовки конвойных побрякивали. Лиза ждала. Все равно, надо ждать. Для этого и пришла.

Отворились ворота — шествие началось.

Солдаты, тюремщики. Они окружают, а там, за ними, в середине... — Странный звук — позванивание, точно железо об железо. Так и есть. Голова шествия поровнялась с Лизой, она разглядела: куртки, шапочки войлочные, на ногах цепи. Каторжники! Потом без цепей арестанты, а там и они, московские. Лиза задохнулась. Вот где Артюша! За каторжниками ненастной ночью месит грязь гоголевского городка!

Студенты брели ватагою, тоже проходили совсем близко, хотелось крикнуть «Артюша»!, но сдержалась. В каждой проходившей тени он мерещился. И вот все прошли, его не увидела.

Начались подводы с вещами, опять солдаты, стража тюремная. А вдруг и вовсе не увидит, на вокзале? Нет, надо и надо, что тут раздумывать. И по той же мостовой, не по тротуару, как на похоронах, зашагала по той же грязи, какую и они месили, это ведь свои, родные, «несчастные». Так и проделали путь через пустынный Нежин, на странных ночных похоронах — до вокзала. Они месят грязь и она, так и надо, все правильно.

У вокзала их повели налево, к боковому входу, где товарные вагоны. Солдаты стерегли эти врата. Туда не пройти, Лиза вернулась к главному подъезду. Вошла, взяла билет до Москвы — ее поезд отходит в одиннадцать. Время есть. Была тиха, все делала веторопливо и споконно. У буфета съела пирожок с видом самым обыденным — путешественницы дальнего плаванья. Но и в движениях ее, спокойствии, сосредоточенности было нечто сомнамбулическое. Ее несла сила — пока не перестала дей-

ствовать, Лиза знала куда идти и что делать, хотя ни о чем не думала.

Дожевав пирожок вышла на платформу, беззвучно по ней пошла, не размышляя спустилась в конце с лесенки. Вблизи будка с семафором. Товарные вагоны на путях. Красные, зеленые огни меж ними и над ними, движущиеся фонарики пересекают рельсы, фигурки постукивают молотком под вагонами. Пыхтит, выпуская вбок пар освещенный золотым фонарем, маневрирующий паровоз.

Лиза шла мимо каких-то стрелок, подъезжавших, отъезжавших на другой путь вагонов — то они сцеплялись к составу, глухо бухая буферами, то силою огневевшего паровоза вновь уходили в темноту. Но во всей этой пестрой темени скоро оказалась она где надо: на запасном пути, у товарной станции. Там грузили арестантов.

Вот они, милые синие околыши, черные шинели с золотыми пугвицами — свои, наши! Борцы за лучшее будущее, вместе с другими светлыми личностями ведущие к тем же огонькам, которые...

Тут Лизе повезло — не то, что было тогда у острога: самый лучший борец, с длинными горизонтальными усами, в папаче, тот самый, из-за которого проделан путь до Нежина, оказался прямо под рукою, один из первых ей попавшихся. И темнота, бестолковщина посадки помогли — удалось ютотить в сторону, прижать к груди, поцеловать, шоплать... «Господи, куда же вас, в Чернигов? А оттуда?» «Ничего, ничего... там побачим, а ты не журись, у-у, дурная, зачем плакать...»

Но у борца самого глаза на мокром месте, однако, слезы эти не горесть: волнение, быть может даже

счастье — ведь вот явилась же сюда, в последнюю минуту, в темноте среди конвойных разыскала — значит любит, одиночества нет, пусть Чернигов, ничего.

Это и была удача их в темный нежинский вечер, но удача краткая.

— Вы зачем здесь? Кто вас сюда пустил?

Как внезапно Артюша возник, так из той же тьмы с той же неожиданностью явилась крупная, знакомая фигура в полицейской форме. Нет, это не Иннокентий Иваныч!

— Я пршла...

— Вы не можете тут находиться. Потрудитесь уйти. И нынче же выезжайте в Москву. Если завтра я вас увижу в Нежине, то этапом вышлю к родным. Мне это надоело. Аникин! Проводи барышню до вокзала. И посади в ватон. В одиннадцать, на Мсскву.

Жандарм сделал под козырек.

— Слушаю, ваше высокородие!

Нежинский полицмейстер шутить не любил.

**

Ночь, неторопливый ход поезда. Широкая русская колея, тяжкие вагоны — спешить некуда, ехать так ехать, во всяком случае основательно.

В дамском купе фонарик над дверью задернут. Коричнево, теплый и душноватый полумрак, случайное жилье, но уж будто насиженное. У окна Лиза. На другом диване полосатом, второклассном, женщина средних лет, полная, с мяткими карими глазами, в шали, серьгах. На пальцах кольца — жует пряник.

— Кушайте, скушайте еще.

Протягивает Лизе коробку.

— Поедите, милая, веселей на сердце станет.

Едут вместе около часу. Уже познакомились, уже начинаются разговоры — из бесконечных русских вагонных, «открывающих душу», иногда заключающих даже дружбы. Уже знает Авдотья Семеновна, за чем ездил Лиза в Нежин. Лиза узнала, что соседке путь совсем дальний — за Москву, за Урал, в Тюмень. А едет из Киева: не так-то мала Россия! Ездил по делам наследства, теперь домой.

Лиза поблагодарила, взяла пряник.

— Вы меня этак закормите.

— Вас чего же, голубушка, и закармливать. Вас подкармливать надо, вон вы какая кволая. Да от слез дородности не наживешь. А только я правду говорю: разливаться вам нечего.

Авдотья Семеновна отложила коробку с пряниками, оправила волосы, уселась поудобнее.

— Первое дело, вы боитесь, что жениха вашего отправят в Сибирь. Это напрасно. Что же он такое сделал? Чем провинился? Забастовка, газету жгли, пошумели... — помилуйте, мы это дело смыслим немного. Видали ссыльных. Другая статья. Это которые в партии, печать тайная, прокламации, рабочих на бунт подбивают.

— Артюша ни в какой партии не состоял.

— То-то и оно-то. Просто: молодой человек, горячий, товарищей поддержал. Посидит, конечно, в Чернигове. Веселиться не приходится, да и убиваться не надо. На доктора, говорите, учиться? Вот, поддержат до осени, а там опять в Москву, в клиники эти, на Девичьем поле. Клиники замечательные. Меня туда три года назад посылали. Там у вас Снегирев, знаменитый профессор — вылечили, не могу пожало-

ваться. Москва город богатый, щедрый. Ваши купды много на медицину жертвовали — что правда, то правда.

Но вот что насчет нашей Сибири, вы русские мало ее знаете, и как бы сказать, не цените, даже боитесь.

Лиза подала из уголка своего голос:

— Почему вы сказали: «вы русские», разве вы сами не русская?

— Я, понятно, русского происхождения. Но сибирячка. Это особая статья. А Сибирь целый мир.

Лиза не только что Сибирь, свою Россию едва знает. Волги не видала никогда, Кавказа, Крыма, даже Киева. Поезд, постукивая, идет полями Малороссии, мимо разных Бахмачей, Конотопов, но и это все мгновенно мелькнет в ночи, не оставив следа: да и Нежина беглый след — сон!

Сном окажется, может быть, и сама поездка, эта ночь и соседка с рассказами, но сейчас еще сон длится. Лиза слушает.

— Мой отец из Тюмени родом. Знаете, Западная Сибирь. У нас дед свой в Тюмени, отличный. Мать рано умерла, я сироткой росла, но отец, Царство Небесное, очень меня любил. У него винокуренные заводы были по Иртышу. Большое дело. А меня он отчасти и баловал, отчасти и в жизнь вводил, с ранних лет. Например, когда ездил вдаль, по заводам своим, то меня непременно брал. Ах, это так было интересно! Во мне по наследству, что ли, деловая жилка оказалась. Да и путешествия эти ее развивали. В тринадцать, четырнадцать лет я многое в нашем хозяйстве понимала. И куда мы с отцом ни приезжали, он всегда меня служащим представлял: «моя наследница, ваша будущая хозяйка».

Отец был деловой человек, но добрый и верующий. И я тоже верующая, с детских лет. А отец был и благотворитель, и в церковных делах деятель. Вот мы с вами, голубушка, все про арестантов да ссыльных разговаривали. А ведь я сызмальства их знаю, можно сказать даже среди них росла.

К нам в Тюмень очень много их из России присылали. Была и пересыльная тюрьма — огромная. При ней церковь. А отец в ней церковный староста. Так что постоянно около нее и в ней — и я, конечно. Там я и впервые каторжников увидела, которых дальше отсылали, в Восточную Сибирь. Они совсем не казались мне страшными.

Один случай мне особенно запомнился, на всю жизнь. Если угодно, расскажу.

Лиза сказала, что очень хочет послушать.

— Я была еще совсем маленькая, лет восьми-девяти. Мы с папенькой стояли у обедни в этой церкви. А там так устроено было, внизу вольные, а каторжники наверху, на хорах — у них и дверь особенная. Когда их вводили, то всегда такой звон кандалов, знаете, слабый, скорее позванивание, но на меня это действовало. Мне их всегда жалко было. Да и отец жалел, что мог им всегда помогал. И вообще у нас в Сибири принято жалеть ссыльных. Но тут вышло особенно.

Значит, я стою с отцом у клироса, на обычном нашем месте. Литургия идет. Наконец, Херувимская. Хор поет: «Иже Херувимы, тайно образующе...» — как всегда мы на колени опускаемся и вдруг сверху звук такой, цепи, знаете ли, звенят — вся толпа долу принимает. Хор: «И Животворящей Троице Трисвятую Песнь припевающе» — я подняла голову, а они

на полу лежат, над нами, простерлись, и рыдают, рыдают... Тут, помню, мне по спине точно кипятком брызнуло, в глазах блеснуло. Я, знаете ли, к папаше прижавшись... Опять на них посмотрела, отцу шепчу: «Папенька, говорю, а ведь Христос-то с ними».

— Папаша говорит: «Понятно с ними, Дунечка. А это ничего. Ты их жалея, так Он и с тобою будет — Он всех страждущих жалеть заповедал».

Она примолкла.

— Вот, душенька, и вы платочек вынули, а меня прямо тогда это потрясло. И сорок лет прошло, папаша давно в живых нет, я замужем, а до гроба доски не забуду как меня тогда всю, махонькую, такая сила пронзила.

Голос Авдотьи Семеновны оборвался, она слегка отвалилась на диване.

— К этому еще и то могу добавить: о. Виталий, наш священник был тюремный, он их исповедывал и причащал — старый человек, почтеннейший. Он говорил мне, когда я уже была взрослая: «Им у меня нечему учиться. Они так исповедуются, как нам и не снилось. Я полагаю, что настоящие-то христиане они, а не мы». И еще добавлял: «Я им в высшей степени благодарен. Они меня смирению учат». Видите, какие каторжники-то наши.

И наша жизнь там, в Сибири, очень с ихнею переплеталась. Они, обычно, когда из России в пересыльную попадали, то очень боялись: Сибирь, мол, да то да се, каторга начинается. А как раз наши им к празднику то пирогов, то пряников понашлют, отец мжй в первую голову: что ж, хоть и провинились, а вот искупают — несчастненькие, значит. Их жалеть надо. Они и удивлялись.

Или тоже, я помню по детству: отец берет меня с собою в поездку. Садимся на пароход и по Иртышу, путь немалый. Велика наша сторона, ух, огромна! И реки как моря. Ну, вст, плывем, на буксире за нами баржа, с каторжниками: их из Тюмени дальше, в Восточную Сибирь отправляют. Хмуро так, небо серое, вода, вода... а они хором петь начинают. Как поют! Вы бы послушали. Отец мне, например, говорит «где бы ты хстела, Дуня, чтобы мы остановились?» (Там разные пристани есть — мимо некоторых мы проходили, у других останавливались). Я отвечаю, положим: там-то. Он сейчас к капитану: «Вот, наследница моя желает привал сделать». «Извольте, ваша воля».

Останавливаемся. Сейчас-это нам на пароход всяксе добро тащут, с берега. Более всего рыбу — знают, сурьезный купец едет. Осетрина, белуга, мало бы чего... нельма, такая знаменитая сибирская рыба. Пироги разные. Птица.

Отец все берет, цельными корзинами. Неужто ж мы съесть можем? «Это здесь на пароходе оставить, остальное им на баржу», остальное то — самая большая часть. И вдруг оттуда через четверть часа ура несется. Получили! Благодарят. Да, это у нас уж так заведено. Мы привыкли к каторжникам и не боимся их. И знаете, в Сибири беглые, например, которые с дальней каторги пробираются — ведь им все помогают. Вы наверно и слышали: в деревнях бабы на ночь им у ворот, околиц хлебушка выставляют, молочка... а тс с голоду ведь в тайге помереть можно.

Поезд постукивает-себе постукивает. Неторопясь бежит. Свеча горит за коричневою занавескою. Лиза слушает да слушает.

— Я сама раз наткнулась... Вы еще не заснули? Лиза лежит на спине. Нет, не заснула. Нет, уж тут не заснешь!

Голос в тихой ночи русской:

— Мне уж было, может быть, лет четырнадцать. Мы приехали с папеньксы на винокуренный наш завод, жили там несколько дней. Место глухое, дикое. Леса да леса кругом — тайга. Раз, знаете ли, собрались служащие в поездку, в воскресный день, для развлечения, верст за десять. В долгуше, самовар с собой, всякого добра довольно. Отец не поехал, а меня пустил: поручил одному там особенно за мной смотреть.

Лизе нравился голос. Как покойно! Мягкий и довольно низкий, но и круглый — вот идет, идет...

— На полянке чай пили, свое угощение, а потом в лес по грибы. Со мною провсжатый мой, да мы вдаль и не собирались, друг другу голоса подаем, а Иван Петрович от меня ни на шаг. Только вышли на прогалинку — вижу, трава в одном месте подымается, точно там что шевелится. Я испугалась. «Иван Петрович», говорю: «медведь!» «Не извольте, мол, барышня, беспокоиться, это не медведь, а как раз человек!»

Мы к нему. Так и есть, человек. Да какой, в каком виде! Уж, действительно, никому не опасен. «Дяденька, говорит, сил моих нет, отошел совсем, пропадаю в этой вашей тайге. Дай хлебушка Христа ради».

Милая, на него только взглянуть! Посмотрели бы вы. Весь волосами зарос, точно дикобраз какой, а уж худ, худ...

Авдотья Семеновна даже охнула — грустно представить себе такого худющего.

— Мы его с собой повели, назад, к нашим. Он совсем смирный — ну, с каторги бежал, это конечно, а сейчас едва на ногах держится. Покормили, чайку дали, ветчины, яичек... Что же с ним делать? Служащие стали между собой совещаться — колеблются. А я говорю: «мы его домой повезем, на завод, не бросать же тут в лесу». Сначала будто противились, но я настояла. Я, мол, хозяйская дочь. Моя воля. Я перед папенькой отвечаю.

И как бы вы думали — не с собой же его, в лохмотьях, сажать — так пристяжку одну отпрягли, его верхом, а с ним кучера, и вот, шажком на завод. Конечно, мы на паре в долгуше раньше их домой добрались, но они не пропали, тоже пожаловали благополучно. Я отцу рассказала. Он ничего. Когда того привезли, сразу велел его в баню, новую одежду ему...

Лиза слушает как отец, запершись с беглецом, с ним поговоривши, позвал Дуню эту — и она увидела совсем другого человека. Начинается вроде милой сказки. О страшном, что в той же Сибири есть, не хочется говорить в эту ночь Авдотье Семеновне — так видит она сейчас свой край. И что же удивительного, что в рассказе ее отец еще денег ему дает на дорогу, усылает стражников с завода в другую деревню, чтобы этому было удобнее скрыться. Как я не удивительно, что тот говорит Дуне: «Где бы вы ни были, барышня, что бы с вами ни случилось, то знайте, что есть всегда человек, который за вас молещик».

— А что вы думаете, душенька, я очень даже считаю, что вот если жива и благополучна, и жизнь моя, слава Богу, идет хорошо, так это не без его молитвы... того, медведя-то из тайги. Он так навсегда в Сибири и остался — поселенцем стал, в нашей же

местности. Женился, хозяйством обзавелся. И мне иногда писал о себе — помнил.

Теперь же, вам сказать по правде, пора нам укладываться. Спать, спать, всех сибирских рассказов не перескажешь.

Авдотья Семеновна стала расстегивать ремни, где в плече завернуты были подушки. В полутьме медленно устраивалась. Лиза туманно на нее смотрела, глаза влажны, в сердце тихо.

— Вы думаете, наших не отправят в Сибирь?

Авдотья Семеновна встала, нагнулась к ней, поцеловала в лоб.

— Все Сибири боитесь. А хорошая страна, я вам говорю. Ничего, спите мирно. Не отправят. Скоро увидите.

Лиза молча заплакала, покорно и благодарно. Поезд тихо постукивает. Неторопясь несет к Курску. Дурные сны сзади.

IV.

Среди спокойствия, прозрачных вечеров Балыкова (бледно-зеленеющее небо, Венера на закате, шуршание пузырьков снега тающего, всех пор его) — вот, весна приближается, зимний Орион отходит. Сириус блеснит еще над елками, скоро перестанет блеснуть.

Мать хотела бы ровного благоустройства дома балыковского, продолжения прошлого, но вместе с годом, звездами, клонящимися к весне, в медленном вращении всеобщем малая ее жизнь тоже поворачивается: не ее одной — всей семьи.

Известие о Глебе пришло, когда отец по распутице уехал в Илев. В теплом большом доме с весенними зорями за двойными еще рамами изживалось оно в одиночестве. Краса Венеры не псмогала. Благоухание сосен саровских тоже. Сыночка исключен! А если его арестуют? «О, Боже мой, Боже мой!» Мать бродила по дому. Он стал теперь для нее темницей. Что же, второй раз в Москву собираться?

Отец вернулся через два дня, к бедствию сыночки отнесся покойней. Довольно бодро сказал:

— Кэпекс коло Витебска — любимую свою фразу, означающую, что под Витебском дело плохо.

И решив, что конечно Глеб юноша с причудами — в этом, впрочем, никогда и не сомневался — не за-

хотел менять бытия свсего, стал готовиться к тяге: разбирал ружья, протирал стволы масляной тряпочкой до блеска, набивал патроны для вальдшнепов — дробью номер шестой. «Книжные они все люди, жизни настоящей не знают» — в этот разряд входил именнс и Глеб, книжность объясняла все. А когда через несколько дней пришло новое письмо, где Глеб сообщал, что собирается в Университет, отец махнул рукой, но и успокоился. Он так и знал, что Глеб книжный. Вст и Университет все для книжек. Ну, ладно. Как хочет. Недорослем из дворян не будет, разумеется. Экзамены, латынь, греческий, — что ж, он способный малый, и упорный. Негг Professor. Захотел, так своего добьется.

За ужином, прихлебывая пиво, заявил:

— К экзаменам сдному трудно готовиться. Должен будет себе маэстро какого-нибудь раздобыть. Чтобы ему помогал.

Мать вполне была с этим согласна. Но чтобы только возразить, сказала:

— Сыночка настолько хорошо учится, что ему никакой учитель и не нужен.

Отец покачал головой.

— Отказать! Отказать! Ты в гимназии не была. В твоём пансионе Труба древних языков не изучали. А ты попробовала бы косвенную речь... Нет, латинский язык трудный, и замечательный. Его надо учить как следует. Это развивает ум, логику.

Он налил себе еще пива, закурил. — *Civis romanus sum, Caïum Mucium vocant. Nec ad mortem minus est animi, quam fuit ad caedem.* — Вот как они выражались. Краткость-то какая, сила! Нет, ничего, пусть учится.

Мать хмурю раскладывала пасьянс, отец учил ее, она строго подымала на него глаза, редко советам следовала. И как это он может благодушно разглагольствовать, когда с сыночкой происходят такие вещи!

После пасьянса вечер как всегда кончился. Мать ушла к себе. Ночь застала ее в постели за предсонным «Вестником Европы». Долго в ночи весенней светилося ее окно. Отец уж давно похрапывал в кабинете под ружьями, видел во сне вальдшнепов удивительной величины. А мать, во втором часу потушив лампу, долго не могла заснуть. Сыночка, Университет, подготовка... Ведь он уже учил все эти глаголы и латинские склонения, еще маленьким, в гимназии, а теперь опять. «О Боже мой, Боже мой!» Как трудно все, сложно. Николай Петрович равнодушен. Ему бы пиво да вальдшнепы, да в Илеве полюбезничать с какою-нибудь инженершей... — только и всего.

Утро подходило. Окно проступало, на стене вырисовалась голубятня, глебово произведение — «миленькая картинка». Нет, не так-то легок Глеб, не так-то.

Скоро и Лиза дала с себе весть.

«Милая мамочка, я недавно вернулась из Нежина, куда ездила повидать Артемия. Он вместе с другими студентами был арестован и выслан в Нежин. Они все страдают по несправедливости, жестокости правительства. Их при мне отправили в другую тюрьму, в Чернигов, а дальше я и не знаю куда. Ты понимаешь, как я взволнована».

Да, это мать снимала. Вообще все понимала. Там сыночка, тут Лиза. Превосходно. Тот исключен, едва не арестован, эта... — Вот она, одинокая жизнь

в Москве, без призору и руководства. Студент-медик со свсими хохлацкими песенками, длинными усами, папай, дубинкой. Герой! Хорошо еще, если порядочный человек и жених (что же, она сама вышла за Николая Петровича, когда тот был студентом Горного Института. Но то Николай Петрович... а какой-то еще этот... Артемий! Артюща! — странная кличка. Может быть, просто соблазнитель?)

И притом: вдруг его и на самом деле из Чернигова вдаль зашлют? Ведь вот в Нежин Лиза за ним собралась, а за декабристами жены и в Сибирь отправились — Бог ее знает, что она еще может устроить.

У матери с ранней юности, когда она ходила еще в Петербурге слушать Сеченова, был весь Некрасов в коричневых переплетах того времени. «Рыцаря на час» она иногда даже декламировала. «Русские женщины», все эти Трубецкие, Волконские, превосходно, но представить себе, что ее Лиза, вместо того, чтобы учиться в Консерватории, заберется к политическим в Нерчинск, Читу...

Так проходили ее дни. Но в треволнениях за детей она не знала, что где-то, для нее невидимо, уж созревала перемена и в судьбе отца, и в ее собственной.

Когда дороги пообсохли и тяга кончилась, отец опять съездил в Илев. В Балыкове летали уже майские жуки, нежно распускались березки, одеваясь зеленоватым дымом. Перед балконом мать завела вазу с цветами в клумбах, отражаясь в глупом розовом стеклянном шаре — безобразно он ее уродовал.

Из-за теплого солнышка чай пили на балконе. Отец был несколько задумчив. Мать заметила это, но делала вид, что не замечает.

Может быть, и отцу хотелось бы, чтобы его спросили? Мать не спрашивала. И он сам заговорил.

— Мне в Илеве предложение одно сделали.

Мать молчала.

— Приезжал Кох, из Петербурга. Ну, огромное металлургическое дело. На юге заводы, в средней России тоже. Так вот не согласился бы я к ним поступить? Проведут в Правление, у них там инженера не хватает. Но надо жить в Москве.

Лицо матери стало серьезней, как бы и суровой.

— Какие же условия?

— Лучше чем здесь, понятно.

Когда рассказал какие именно, мать подняла на него глаза.

— Что ж... ты, конечно, согласился?

Отец пустил кольцо дыма, не без задумчивости.

— Сказал, что должен обсудить. Отвечу окончательно отсюда.

Москва! Сыночка, Лиза... вдвое больше жалеванье, проценты с производства...

Мать начинала волноваться. И чтобы скрыть волнение, стала еще суровой.

— Что же тут обсуждать. Разумеется, соглашайся.

Отец помолчал.

— Разумеется, разумеется... Там город. Все другое. Теснота. Вон какая здесь благодать...

— Всю жизнь по медвежьим углам просидели, наконец, в Москву, и он колеблется.

Голос матери стал как бы глуше. Еще немного и гнев в нем послышался бы.

— Не люблю я города. Ни простора, ни зелени. Охотиться негде.

— Охотиться! В Москве наши дети.

— Да, дети, конечно.

Против детей отец не возражал, это все верно, все же лицо его приняло выражение скучающее. «Кэпско коло Витебска», мог бы он сказать. Да, здравый смысл. Ничего не поделаешь. Отказываться невозможно.

Отец ясно представил себе Москву, улицы, грохот, Правление, и завод, разные заседания с иностранцами — всего этого терпеть он не мог. А охота? Нет, навсегда с ней кончай. Пойдут разные канцелярии, юрисконсулты... Конечно, деньги большие, положение в столице.

Утешало и то: в несколько лет можно стать если и не богатым, то состоятельным — плюнуть на все заводы, купить имение и зажить как подобает порядочному охотнику, как жили отцы, деды.

Перед ужином он позвонил в Илев — предложение Коха принял.

**
*

Родители не задержались в Балыкове — сбылось давнее желание матери: жить в большом городе, с детьми.

Снят особняк на Чистых Прудах — не из роскошных, но просторный, с садом. Заново обставлен — у отца гнутая мебель (обивка бордо, с шишечками), в гостиной зеленая плюшевая, в столовой мореный дубок и матовый полушар электрический на потолке — света много. Все вообще прочно и основательно. В новых комнатах с новой мебелью возобновляется ткань — длинный холст дней от Устов до

Людинова и Балыкова, а теперь Москва, все неожиданно-негаданно, по таинственным законам, все стремящим, стремящим...

Из особняка на Чистых Прудах отец ездил в Правление на Мясницкую, заседал там с иностранцами и русскими. Пофыркивал, к работе отнссился насмешливо («чиновничья служба... пустяки... что они понимают в живом деле?»). Весь вид его говорил: «я же знал, что это будет неинтересно, ничтожно, так оно и оказалось».

Матери же не казалось ничтожным: служит и много зарабатывает — так ведь и надо. У нее самой теперь много денег. Месячный их извозчик увозил ее ежедневно в город, там действовала она по магазинам. На Чистые Пруды присылались ковры, кресла, посуда, бесконечные пустяки хозяйства. Но — надо, это жизнь, мелкое, крепкое ее сложение: «гнездо», мать эти гнезда ценила.

Тот же извозчик возил Лизу на Никитскую в Консерваторию. В большом светлом классе Игумнов, сидя на табурете, змеями оплетая длинные нсги, выслушивал ее упражнения на рояле.

Но у Лизы искусство, музыка. А Глеб просто стал с сентября брать уроки латинского, греческого у известного латиниста, инспектора гимназии на Разгуляе. Угодно недюжинной жизни? Потрудитесь сначала вспомнить правила косвенной речи, *ablativus absolutus* и мало ли еще что. А вот греческий: захотелось сбежать от глагола «хистами» в Калуге, так поспрягайте его теперь в Москве.

Глеб заявлялся к латинисту своему в четыре. Холодная каменная лестница, крепостные стены — Никифор Иванович жил на казенной квартире. Руко-

ятка звонка, обитая клеенкой дверь, молоденькая горничная. Небольшие окна в толстенных стенах — на подоконниках мещанские герани. Гостиная с блистающим паркетом и рододендроном в кадке, иногда невообразимо-накрашенная мадам-латинист, а чаще — прямо кабинет с теми же оконцами, с быстро вскакивающим Никифором Ивановичем: он отдыхал после классов. Спал честно, крепко — как по загадочному залогу греческому (*medium*) говорится — «в своих интересах». От интересов этих Никифора Иваныча отрывали внезапно. Он был вообще запуган штукатуренною супругой — взлетал мгновенно, с полоумным видом, конфузливо напяливал шиджачек чечунчиковый, вся правая щека его в багровых полосах, отлежана крепчайшим сном. Половина бороды уехала вбок, остатки волос на голове тоже торчат кривенно — он улыбается, пожимает руку Глебу, бормочет смущенно:

— Прилег, знаете ли... тово. Видите ли. На полчасика. Так сказать. Ну, ну... что там у нас сегодня?

Но как только брал в руки грамматику (собственного сочинения, очень известную) — сон соскакивал. Не то, чтоб впадал в восторг пред собою как автором. Но преклонялся пред латинским языком — заикающийся, помятый, кособокий Никифор Иваныч в пуху и перхоти...

Глеба сн не раздражал. Даже и нравилось нечто нелепое в нем, выставленное насмешке, неказистое и скромное. Не могло быть и речи о самом Никифоре Иваныче. Но попробовал бы Глеб не совсем точно перевести фразу из Цезаря, Корнелия Непота: Никифор Иваныч начинал улыбаться, улыбкою со-

страдания к несчастному, который спутал один глагол с другим и не принял во внимание, что это косвенная речь. Блаженно начинал сам бормотать: «Цезарь, убедившись, что... ну что там... переправы... переправы, которые, не будучи достодожно укреплены... не укреплены достодожно... тогда-то он, имея три легиона и отряд... да... всадников»...

Никифор Иванович почесывал заросшую бородой щеку. Щека еще пламенела от пламенного сна, борода все еще была устремлена вбок, от него пахло тепло-затхлым и домашним. Если бы Цезарь увидел своего поклонника!

Глеб уходил от него нагруженный. Да и дома работа. Весною экзамен, надо одолеть всю гимназию — латынь и греческий. Он засаживался. Было чувство, что времени мало, надо вперед, все вперед, без потери часа. Зажмуриться, пережить, а там... студенческая тужурка как у Артюши, фуражка с синим околышем.

Лиза что-нибудь копошилась в соседней своей комнатке, к ней приезжали подруги. Вилочка Косминская громко сморкалась покрасневшим носом. Иногда из гостиной доносилась их музыка — Глеб мало выходил и не очень любил, чтобы к нему заходили. Исключение одно, старая дружба детства — Сня Собачка. Она объявилась внезапно.

Узнав, что в Москве поселились «дядечка и тетечка», прикатила Собачка на Чистые Пруды с Самотеки, где жила. Хотя и неожиданно, но некоторым веселым обвалом — двадцатилетней мстной девушки с могучим бюстом, яркими щеками, запахом аптеки: она на фельдшерских курсах, работает тоже во всю. «Дядечка, тетечка»... — Собачка всех цело-

вала, радовалась, жмурия глаза попрежнему делала «кста» из своего лица. Глеб потонул в ее объятиях, в черноземе Мценска.

И она получила, молчаливо, но прочно, доступ в глебову комнату, право отрывать от работы, мешать, но и ободрять.

— Глеб, Глеб, ты опять учишься... ты по моему все и так уже знаешь... все такой же как в Устах, Калуге, Нетт Professor. Опять эти греки, латиняне? Зачем же ты их тогда бросил?

Зачем бросил? Да, вопрос. Но не мог бы он ей толково и на то ответить, куда бросает его самого судьба, так или иначе юную жизнь слагающая.

— «Тэн д'апамейбоменос просефэ нефелэгерата дэсус...»

Глеб декламировал внушительно.

— Ты не можешь этого понять. Здорово сказано: «Ей отвечая прорек тучегонитель Зевес».

— Глеб, Глеб, ты берешь уроки, изобрази своего профессора, это чучело кажется первой степени...

И Собачка заливалась, когда Глеб, перекосив физиономию и взъерошив волосы, начинал бормотать: «Цезарь... убедившись, что переправы... не будучи достодожно... достодожно не будучи укреплены»...

— Ты еще когда в Калуге зубрил, на Спасо-Жировке — помнишь, тетечка называла: Спасс-на-Жирсний... — я еще тогда знала, что это все чушь. Помнишь, как ты учил: «апетметесан тас кефалас?»

Она опять захохотала.

— Глупость, а засела в голове.

— Вовсе не глупость. «Были обрублены по отношению к головам» — винительный отношения.

— Да это для жизни не нужно, Глеб.

— А ты «Илиаду» бы почитала, вот это вещь...

«Илиаду» Глеб только еще понюхал, но плавная вязь гекзаметров, легкая, вьющаяся, правда ему понравилась. Собачка предпочитала медицину. Этого Глеб не любил — хотя и не знал ничего: но не смущался.

— Медицинские науки? Фу, тоска!

— Нет, нет, наши науки разумные. А названия какие: десмургия, фармакогнозия!

Теперь Глеб фыркал.

— Вот и названия даже у греков сперли.

Собачка защищала. Десмургия полезная наука — о перевязках.

О пользе этой науки, о трудностях зачета могла она рассказать, но при всей к Глебу дружественности не рассказывала, что сама уже вступила, как и Лиза, в круг иной науки, важнейшей: любви. Пылала уже бурным темпераментом своим к доктору Екатерининской больницы, да и он пылал, хоть был женатый. Тут-то все и затруднение. Об этом с Лизой шушукалась Собачка, в ее комнатке, без конца-начала, как и та с ней об Артюше — это относилось к той таинственной области, которая с детства еще называлась «бим-бом»: отсюда Глеба изгоняли, как во времена Устов.

Но о всем другом легко Собачка говорила с ним. И не искала — само шло из того чувства родного, с детских лет близкого, что было между ними. Вспоминали Усты, скарлатину. Калугу, гимназию, Красавца. Глеб достаточно теперь вырос, не мог бы уже прокатиться на Собачке по гостинной, но в существе это было то же: Глеба Собачка принимала целиком, он

это чувствовал. И он ее также. Она это знала. «Расскажи, расскажи, Глеб, как ты там бунтовал, в Техническом?»

Глеб другому и не стал бы рассказывать, но с Собачкой вместе они смеялись, все это казалось ему теперь далеким, странным. «Глупости страшные», поворила Собачка: «наши фельдшерницы тоже бастовали, из сочувствия, но ты, конечно, должен был показать, что ничего не боишься. Глеб, я тебя понимаю. Помнишь, как Красавец кичился нашим дворянством? У него это выходило чепуха, а все-таки ты ведь барин, и как барин поступил».

Она сделала из своих щек руками кота, потом обняла Глеба и поцеловала.

— Не люблю плебеев... помнишь, нас в гимназии учили? Они все еще на какую-то священную гору уходили? Ну, и пусть уходят. Михрютки! А вот ты не михрютка. Потому у тебя с ними ничего и не вышло.

— Да они не все михрютки.

— Нет, все-таки. Глеб, Глеб, я по своим фельдшерницам знаю. И я наших предпочитаю.

«Наши» — значит из Калуги, Мценска, баре. Она сказала это тем же тоном, как в детстве говорила, глядя на картинку: «Мой конь! Мой конь!» Глеб ничего ей не ответил, но такого же, приблизительно, и сам был мнения — не умом, а натурой. Они кровно друг другу отвечали — с ней Глеб чувствовал себя даже свободнее, чем с Лизой. И любил, когда она являлась, с пышущими своими щеками, отрывая от грамматик, но внося живое, теплое, милое и женское, чего так мало было в его жизни.

Около пяти зовут чай пить, в столовую мореного

дубка. По бульвару проезжают извозчики, самовар клохчет, угольки в нем краснеют.

Уже сумерки. Мать за самоваром разводит чайную свою деятельность. Отец пьет с блюдечка, со сливками. Около Лизы Артюша, недавно из Чернигова возвращенный — бобрик, горизонтальные усы, в студенческом мундире. Соня Собачка с Глебом тоже устраиваются. Все течет правильно. Крепко гнездо матери.

**
*

На одном из таких чаев Артюша заявил, что на днях был с товарищем в новом театре. Называется — Художественно-Общедоступный. Ставили пьесу «Царь Федор Иоаннович». Замечательно интересно.

Артюшу стеснял отец. Вообще-то не очень речистый, тут оказался он совсем туманен. «Все там по новому... толпа так толпа... совсем, ну как толпа, колокола как зазвонят... и царь будто настоящий, и бояре»...

Отец пофукивал папироской, посмеивался. Театры считал пустяками, людей, которые в них ходят — несерьезными (равно и тех, кто любит путешествовать).

Артюша не стал особенно распространяться, но позже, в комнате Лизы разговор возобновился. Глебу показалось, что все это любопытно. «А что же там еще ставят?» «Ахроменко бачив хороша пьеса одного нового писателя... как его?» — Артюша потянул себя за ус (при отце наверно и не вспомнил бы): «Да, Чехова, Антона Чехова. Называется «Чайка». «Ну, я Чехова знаю, прекрасный писатель!» Глеб

даже удивился, что Артюша так неуверенно говорит. Слыхала о «Чайке» и Вилочка — в этой же комнате сразу решили: взять ложу на ближайший спектакль. Тут же сложились, деньги передали Артюше, он пусть и берет билет. В воскресенье все едут.

Глеб был доволен. Хотя и говорил об «Илиаде» сочувственно, все-таки это древность, далекий мир, чуждый, Чехов же рядом, Чехов — знойный день летом в Балыкове, диван, на котором читаются «Хмурые люди» и «Моя жизнь». Чехов свой и особенный, ни на кого непохожий. А вот теперь он в театре!

Вечером в воскресенье, при некоторых усмешках отца, Глеб с Лизой покатали с Чистых Прудов через Трубную площадь в Каретный ряд. Глеб волновался: не опоздать бы в театр! Артюша говорил, там все по-новому — подняли занавес, так никого уж не пустят, жди конца акта.

Но нехитрый Ванька на санках нехитрых с си-нею шолостью, на средне-русской лошадке, доставил их во-время. Вилочка ждала у подъезда с билетом.

Все странно, непривычно показалось Глебу в этом театре. Просто, как будто скромно, очень изящно. Сero-коричневый тон, одноцветно, без украшений. На занавесе тяжелой материи белая чайка. В фойе снимки постановок, портрет Чехова.

— Ты знаешь, — вполголоса сказала Лизе Вилочка: — будет еще Лера. Ей очень хотелось, я не могла отказать.

Лиза улыбнулась.

— Скушает с мамашей своей на Волхонке. Ну, вот, Глеб, для тебя и занятие.

Вилочка слегка покраснела. Глеб хотел-было сказать, что ему «все равно», да как раз отворилась

дверь ложи, Лера вошла. Артюша весело вскочил, раскланялся.

Глеб давно не видал ее, с того весеннего дня у Лизы, во время забастовки, когда изображал из себя деятеля. Нельзя сказать, чтобы он ее позабыл. Наоборот, и тем летом и теперь вспоминал нередко, всегда с некоторым волнением, и не без грусти. Так ему все казалось ну вот, видел, больше не увижу.

Лера будто бы за это время и похорошела. Сейчас была в сиреневом платье, нарядней Лизы и Вилочки, в духах, в легкой волне счень мягких светлых волос, сильно вившихся. Как бы сам облик прозрачного, свежее-испеченного воздушного пирога, духовитого и сладостного, вошел с нею.

— Мамап не хотела меня пускать, но я сказала, что будут одни только барышни...

Она улыбалась, пожимая Лизе руку.

— А вот как здорово мамап свою надули, Лера. — Тут у нас и студенты.

Лера совсем засмеялась, весело и не так уж смущенно.

— Ну, знаете, мама...

Ее усадили в первый ряд, к барьеру, между Лизой и Вилочкой. Глеб и Артюша сзади — да и пора уже: зазвенел гонг, резким металлическим звуком. В зале погас свет. Медленно пошел вбок, раздвигаясь от середины, занавес с белой чайкой.

Лера слегка обернулась.

— Почему же занавес не подымается?

В темноте Глеб не видел ее глаз, но чувствовал их удивленность. Ощущал теплоту волос, от которых слабо пахло хинной водой.

— Н-не знаю... Тут все по-новому.

На сцене вначале было совсем темно. Понемногу взор применился — у самой рампы скамья, дальше группы дерев, меж ними что-то белесое, вроде озера. Мужчина и женщина сели на скамью. «Отчего вы всегда ходите в черном?» «Это траур по моей жизни. Я несчастна».

«Чайка» началась, юные люди с Чистых Прудов и Козихи, Волхонки медленно погружались в ее нервный сумрак. Зала также. Все шло неторопясь и не так, как в других театрах и других пьесах. Выбрались к скамье и Тригорин с Аркадиной, появилась Заречная. Худенький Треплев, угластый, похожий на молодого лося, волновался и нервничал — начиналось чтение его пьесы.

Эстрада в саду, за ней доморощенный занавес, Заречная начинает декламировать, слушатели сели спиной к зрительному залу. «Люди, львы, орлы и куropатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды... все жизни, все жизни, овершив печальный круг угасли».

В зале некторое движение. У Глеба холодеют руки. Да, ну а вдруг... В шартере кто-то засмеялся. На него шикнули. Смех отозвался в другом месте. «Общая мировая душа — это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира».

К Глебу опять обернулось лицо с теплыми электрическими волосами.

— Я ничего не понимаю.

Теперь Вилочка на нее шикнула.

— Тихе! Поймете.

Молодой лось бегаёт по сцене — гсрячится непризнанный литератор. Нет, Глеб понимает. Чем дальше идет дело, тем слаще и ядовитее происходя-

щее в полутьме этой, в саду хоть и неведомой, но уже чем-то близкой усадьбы. Нет, это не зря. И не зря зала смолкает, смешков больше нет, слушают очень серьезно. «Как все нервы! Как все нервы! О, колдовское озеро!»

Занавес снова поехал, с боков к середине. Опять чайка на сером его фоне, свет вспыхнул, аплодисменты. «Браво, Станиславский, Книппер...» Артюшины усы победоносны, бобрлик крепок, он высовывается из ложи, изо всех сил хлопает. «О дей высокий и есть Станиславский» — показывает его Лизе. «Самый у них главный... то он и есть». «Чудный, чудный!» Лера скромно помалкивает. Поняла она во всем этом мало, но вообще сейчас очень мило, приятное общество...

Со второго акта спектакль вполне стал на ноги. Больше никто уже не посмеивался. Треплев приносил убитую чайку, Тригорин рассказывал о писании своем, тосковал старый Сорин и Аркадина появлялась в вечной маске всероссийской актрисы. Все шло вперед, все протекало. С каждым актом те молодые, что приехали с Чистых Прудов и Козих становились старше: узнавали раньше незнаемое и волновались, и затягивались в волшебство театральной выдумки. С каждым действием возрастало их возбуждение. И не их одних. Весь театр непрерывно разогревался, аплодисменты росли. Да, успех! Москва приветствовала скромное свое дитя.

Глеб находился в восторженности. Встретил ли брата, друга? Когда чайка на занавесе отходила, прячась в кулису, и со сцены шел теплый слегка пыльный, но уютный запах представления, а зал погружался во мглу, Глеб тоже выходил в иное бытие. В

бытии том пред ним воздымался — совсем рядом — мягко-пахучий сад лериных волос, лерино платье шуршало шелком, слабо поскрипывала косточка корсета. Глаза Леры оборачивались, в них было теплое зеленоватое сияние, прежняя и всегдашняя прелесть и покорное непонимание. Но и никакой самонадеянности. Ну они чего-то волнуются и восторгаются, я не противоречу, хотя сама не волнуюсь, но приятно быть в театре, с молодежью. Чувствовать, что хорошо одета, и что нравишься. Худенький молодой человек возбужденно говорит с нею в антрактах — ей хоть и довольно безразлично, что там происходит на сцене, все-таки она охотно слушает (больше смотрит на его глаза, юношеский румянец щек) — во всем соглашается. И тоже нравится, что с ней разговаривают серьезно, «как с дамой».

Глеб в инобытии своем чувствовал, что Лера не такая, как Лиза и Вилочка, совсем «другая», но это не раздражало сейчас, даже радовало. Пьеса радовала его по одной линии, Лера по другой, линии эти не скрещивались, жили отдельно — и уживались.

К последнему действию разогреблись нервы юности в ложе. Нависает беда! Грустно ветер подвывает в усадьбе, хмурь, осень. Горек Треплев, так ничего и не добившийся. И вот — «направо за сценой выстрел».

Долго шумел театр, долго восхищался. Но наконец разошлись. Сивые Ваньки ждали у подъезда господ, везти кого куда. Лере наняли на Волхонку. Она весело села. «Спасибо большое, было очень интересно». Лиза ей крикнула: «Лерочка, приезжайте к нам на Чистые Пруды» — Ванька тронул, она из простора московского, из московской ночи еще раз звонко поблагодарила.

А Вилочка покатила ночевать к Лизе. Кое-как втсроем уместились на извозчике, неторопясь до дсму доплюхали.

Отец все еще сидел в столовой, читал, потягивал пиво. Ярок свет матового полушара. Теплс. Рядом в кабинете (с мебелью бордо — шуговками) жарко горит камин — бегают отблески его по письменному столу, по дивану, креслам. Хороша молодость! — волнением своим, сстротой, новыми мирами, постоянно открывающимися.

Пьют чай, потом забираются в кабинет — в камине жаркий огонь, у камина заново переживают всех Тригориных, всех чаек, Треплевых. Пусть посмеивается отец: ничегс. Важно то, что была благодатная проза, искусство пронеслось освежающе, сейчас солнце сквозы радугу, капли дождя висят еще в воздухе, но солнце, солнце...

«Ах, каксй Станиславский! Книппер!» «Книппер совсем очаровательна»... «Главное, это совсем какой-то особенный театр. Я ничего подобногогс не видела. Играют так естественно, будто это настоящая жизнь, точно вот мы тут сейчас сидим! И таксе настроение...»

В окна виден занесенный снегом бульвар, в другую сторону сад — тоже в снегу, замело все дорожки. Фонтанчик заваян, молсдые, чуть подстриженные топольки.

Лиза с Вилочкой будут еще болтать в постелях: надо как следует все перечувствовать.

**
*

«Никифор Иваныч, успеем мы пройти курс?» — Никифор Иваныч после дневного сна скромно по-

маргивает, отлежанная его щека багровеет, борода совсем уехала вбок. Он мучительно перелистывает книгу, подавляя зевоту. Пытается улыбнуться. «Если ничего... особенного если ничего... как сказать, не произойдет... м-м... если не произойдет ничего... ну, особенного (тут он вздыхает, как перед трудным препятствием): «то, полагаю, успеем!» И раскрывает книгу. С блаженным видом начинает бормотать: «Таким образом Ахилл... не удовольствовавшись... ну, там... победой над Гектором... Какой победой? Вст вы и видите тут... определено точно: «в достопамятном... в достопамятнсм состязании...» не удовольствовавшись...»

Классический бред начинался, а январьское солнце, потом и февральское, мартовское глядело в оконца толстостенного дома Второй Гимназии. Освещало герани на подоконнике, письменный стол с ученическими тетрадками, чечунчиков пиджачек Никифора Иваныча, глебову упорную голову, склсненную над Ахиллами и Гекторами. Да, Глеб проделывал все что полагалось и Никифор Иваныч мог спокойно верить в успех. Но никак не мог знать, что остроугольный и большеголовый его ученик занят, собственно, совсем другим.

«Чайка— только сгустила это. Вот она литература, жизнь! В промежутках между занятиями Глеб написал нечто. На этот раз принял решение: в великсы тайне (ни Лиза, ни даже Собачка не знали) — отправил рукопись в Петербург, в толстый журнал, народнический.

А пока, ожидая ответа, читал и другие журналы. Однажды наткнулся на рассказ, его поразивший.

Что в нем было такого особенного? Весна, раз-

лив, деревню подтопило, плавают на лодках, происходят разные события, сентиментальные и поэтические... — и все это как раз не так написано, как пишут в толстых журналах. Да и журнал не толстый, и под рассказом подпись неизвестная: Андрей Александров. Но как ново, свежо, ярко! Наверно, молодой. Прелестно. А фамилия... очень уж простовато. Неужели писатель с такой фамилией может стать знаменитым? Это Глеб немного смутило, все-таки с книжкой в руке он отправился к Лизе.

В комнате ее пианино, над ним Бетховен. Светлые занавески на окнах, жемчужный свет дня мартовского сквозь них, в садике уж совсем сухо.

Лиза только что кончила играть. Артюша, в кресле, покручивает горизонтальные усы.

— У-у, який сумный Глеб!

— Нет, я ничего... я вот рассказ замечательный прочел.

— Давай сюды, и мы прочитаем.

Артюша протянул руку, взял журнал. Он был уже на ты с Глебом, относился к нему ласково, глебовы остроугольности ему даже нравились. Глеб это знал. Они были в добрых отношениях.

— Завтра у нас Лера будет к чаю, — сказала Лиза. — Глеб, она здесь уже третий раз, тебе надо бы тоже к ним заехать.

Глеб смутился.

— Ну, чего там...

Лиза подмигнула.

— Чего ни чего, нужно бы... на Волхонку.

Артюша взял его за обе руки, вытянул вперед голову.

— У-у-у, Глебочка, поезжай. Лера складная дивчина, як пава ходить...

Он вскочил, сделал вид, что распускает хвост, прошелся по комнате.

— Ах, что там Лера!

— Да уж знаем, знаем... — Лиза сделала обезьянью мордсчку. Глеб быстро прервал.

— Рассказ лучше читайте, чем пустяки болтать.

И ушел к себе. За учебники не засел, лег на диван. Не лежалось. Он встал, оделся, вышел на улицу. Писать! Так писать, как Чехов, или этот Александров. Ну, разве это возможно?

Весенний ветер бурлил, рвал на Чистых Прудах, но весело рвал, тепло, с яростью молодости. Путанные облака неслись по небу, оно было пестрое, но тоже полно света, свет и в ряби луж, вздуваемой ветром, и в чирикание воробьев, и в брызгах из-под резиновых шин пролеток. Но что-то беспокойное, мятущееся. На углу гремела в порывах плохо пристроенная вывеска.

Примут ли в журнал рассказ? То видел он уже подпись свою и фамилию в оглавлении, то ясно представлялось, что его, никому неизвестного, никуда и не примут. Да и не ответят вовсе.

Глеб прошелся так, в пестрой весенней буре, иногда сладко задыхаясь от ветра, вкусного как нежный персик, иногда шляпу придерживая, иногда ветер подхватывал его и почти нес. Он весь находился в коловращении стихий.

Возвратившись домой, тотчас явился к Лизе, несколько бледный, будто и усталый. Спросил строго: — Ну, прочли?

У Лизы был равнодушный вид. Артюша подклеивал ей какую-то коробочку.

— Да, прочли. Ничего особенного.

— Как ничего особенного?

Глеб слегка задохнулся. Артюша мирно поднял от своей клейки голову. С добродушным удивлением взглянул на Глеба.

— Я сам вслух читал. Може, я плохо читаю... а тольки... нам не так уж очень... чтобы.

— Да ведь это превосходная вещь! Что ж вы, читали и ничего не поняли?

— У-у, Глебочка, не журись! Понять понять, да что-то не тово...

Лиза села за свое пианино.

— Правду сказать, Глеб, я не понимаю, чем ты так восхитился?

Глеб пытался доказать, что все это и по-новому, и с талантом написано, но скоро почувствовал, что слова не доходят — что такое? Лиза, с детства своя, и не понимает? Он стал раздражаться. Гнев его, вероятно, был и смешон, во всяком случае Артюши не взволновал. Наоборот, благодушные его лишь возрасло, он вдруг вскочил, ухватил Глеба подмышки, выволок на середину комнаты.

«Этот клад, виноград,

«Нам Нормандия рождает

«Что за вкус, вот игра,

«За Нормандию — ур-р-ра-а!»

Почему русский студент с Козихи так востергался Нормандией, почему думал, что это родина винограда? Но в Москве пели тогда эту песенку и как честный медик пел ее и Артюша — хотел, чтобы и Глеб помсгал. Глеб нервно вырвался. Обругав их обоих, под хохот, марш, неожиданно грянувший на

пианино, выскочил из комнаты. Не поняли Андрея Александрова! Не оценили глебова вкуса.

Это ничего не значит. Не поняли и не поняли, их дело, им же хуже. От этого рассказ не испортится. И он, Глеб, своего мнения не изменит. Наоборот, еще более убеждается, что прав именно он.

Опять диванчик в комнате глебовой, подушка под головой. Голова горячая и раздраженная, подушка быстро нагревается. Нет. Он, конечно, один. Кто его поймет? Даже Лиза, даже Лиза...

Глеб вертелся, лежал, вставал. Так же, наверно, и его рассказа не оценят в журнале. А вот Александров может быть и оценил бы. Но где он? Кто он такой? Если бы знакомым с ним хоть быть?

К ужину Глеб вышел хмурый. Мать сразу это заметила. «Заработался очень, все с книжками, книжками»... Обнять бы его, приласкать, чтобы он что-нибудь про себя сказал. «Разумеется, ведь и возраст его такой... переходный». Но мать отлично знала, что ни обнять, ни приласкать Глеба, когда он в таком духе — нельзя. Отец тоже видел, что Глеб не в порядке, но относился гораздо проще и равнодушнее. Отец вообще считал, что всякие эти «настроения» — чепуха, выдумка «книжных» и «городских» людей, не понимающих ничего ни в деревне, ни в охоте. Теперь бы на тягу хорошо, куда-нибудь в Сопельки или на Касторас, а они опять в Художественный театр соберутся, смотреть какого-нибудь Ибсена или Чехова и потом до зари охать и восторгаться.

После ужина, уходя, Артюша добродушно Глеба обнял.

— Глебочка, не журись... Який сумный! Как тебя в детстве-то называли? Herr Professor?

Глеб прохладно высвободился. Беспокойство, волнение томили его.

— Никак не называли. Никакой не профессор.

— У-у, дурный!

**
**

Мать встречала Леру раза два, но бегло. Из усмешек Лизы, ревнивых вспыхиваний Вилочки, из артюшиных шутчек понимала, что Лера Глебу нравится. Нельзя сказать, чтобы ей самой она не понравилась. «Видная девушка, что и говорить... Очень привлекательная. И из порядочной семьи». То, что отец Леры председатель Суда, известный юрист, человек серьезный и с положением — хорошо. В общем же вся «эта» сторона глебовой жизни все более и более ее занимала: Глеб несомненно в «таком» возрасте, все «это» неизбежно. Отца его она достаточно знала, Глеб, конечно, молчалив и скрытен, но — она чувствовала уверенно — в «этом» совсем такой же. Как ни печально, такой же. При всей его благословителности. Слава Богу, там, в Гавриковом переулке, ничего с ним не приключилось («ну, эта гусыня...»), но произойти может в любой день.

Влюбится, и конец. Или подцепит его какая-нибудь авантюрьерка — еще того хуже. Конечно, он очень молод, о женитьбе что говорить, все-таки лучше уж встретит хорошую девушку нашего же круга. Мало ли, роман может тянуться, еще предстоит высшее образование.

Лизин выбор мать не особенно одобряла, этот Артемий слишком уж демократ, чуть было из Университета не вылетел. Впереди Лизе быть кем? Же-

ной земского врача? Но ничего не поделаешь. Тут дело уж крепко, близко к свадьбе. А насчет Глеба еще все вопрос.

Тем с большим интересом встретила мать Леру в то воскресенье, когда все было так очаровательно пестро, светло от дня погожего, редкого по теплоте и ясности, в залитой светом столовой особняка, за столом с грузом конфет и тортов, изделий Эйнема, и варений домашних, и самовара домашнего, при голубом небе, в котором за окном ветер покачивал тонкие ветки тополей — воздушная тень реяла. Лера явилась тоже вся в светлом, сидела меж Лизою и отцом, прямо напротив матери, свежая и благоуханная, вновь похожая на воздушный пирог. Глеб рядом с матерью — напряженный, нервно молчащий.

А отец распустил хвост. Ему Лера сразу понравилась, мужской нюх не обманывал. Мать степенно расспрашивала ее, отец перебивал, хохотал — Лера держалась довольно мило, была розовая и от некоторого смущения (чувствовала, что мать не то экзаменует ее, не то рассматривает).

Узнав, что она поет, отец вполне воодушевился. «Не искушай меня без нужды, возвратом нежжно-сти твоей...» он тут же за столом, в четверть голоса, ласково на Леру поглядывая, стал напевать романс — чем ее несколько удивил. Матери это не очень нравилось. Она предложила, чтобы Лера как следует спела в гостиной, Лиза поаккомпанирует.

Чай отпили. Лера помялась, все-таки отказать не решилась.

У рояля стояла она высокая, стройная, спела что надо (более чем средне), степ аплодировал и все порывался устроить дуэт. Но Лера отговорилась: не в голосе, да и дуэтов отца не знает.

— Я ведь вообще мало пою и мало училась. — Она улыбнулась довольно благодушно. — Я просто так, по-любительски...

Мать ласково на нее смотрела.

— А почему же вы в Консерватории не учитесь?

— Ах, знаете, маман... всего боится. Она думает, что в Консерваторию идти, значит уж там театр, что я буду актрисой...

— Почему же, вот и моя Лиза в Консерватории...

Лиза засмеялась.

— Мамочка, дедина мама как огня боится Консерватории. Она думает, что консерваторки все богема, что там дурные нравы, примеры.

Мать более серьезно поглядела.

— Правду говоря, я сама вашу Консерваторию не счень люблю. Много и грубоватого, и профессора разные бывают... и ученики.

Лера складывала ноты.

— Я несколько не опасаясь Консерватории, но маман... впрочем, она вообще немного... retardataire.

И они с Лизой опять весело улыбнулись.

— Лерочка, а вас нынче легко отпустили? —

— Ну, знаете, ваш дом солидный.

— Так что даже и без горничной?

— Что вы, я и в театре с вами была одна.

Отец отворил балконную дверь.

— Вот денек! Вот денек! Эх, нынче вечером тяга какая в Балыкове!

— Что такое тяга? — спросила Лера.

— А, вы городская барышня, вы не знаете.

И стал объяснять. Это Лере не так было интересно. Но на балконе она вышла. За ней Глеб.

— Какой славный садик!

— Хотите пройтись?

Лера с Глебом спустились. Отец, в виду солнца и тепла, вынес на балкон пиво и уселся.

Он был прав. День удивительный. Вчера бурлило, трепало, нынче все тихо, задумчиво, тепло, золотисто. Лера шла легко по дорожке, легко входя в музыку весны. Песок еще чуть влажный, но ничего, нет уже сырого, неприятного. Все приятно. И все звучит — как надо. В лериных волосах нежно сияет свет, юреолом. Движения тела стройного лучше пскот, чем было там, у рояля. Вот она полуоборачивается, Глеб видит мягкую, сильную шею, глаза полны улыбки, зеленоватого блеска. Разговор ни о чем, да и не разговор, просто отдельные слова, но все радостно, интересно. Вон свежая крапива выбилась у забора, какой запах! Какая зелень! Ведь первая. Рядом желтенький одуванчик — прелесть!

За садиком, вокруг, разумеется, и Москва, там пролетки гремят, но здесь тихий пригретый рай.

Глеб с Лерой прошли в дальний конец рая, сели на скамейку, лицом к дому, и вот солнце их пригревает, голубой дым в небе, золотой свет на земле. Так бы все сидеть, сидеть.

— У нас в Астрагани тоже очень хорошо. И весною, и летом.

— Астрагань... это что?

— Наше имение, под Смоленском. Там станция Духовская и к нам несколько верст, на лошадях.

Лера смотрела ему прямо в глаза, немного откинувшись на скамейке. Он видел, как билась у ней

нежная жилка на шее, завиток волос, мягко золотевший, очень легкий, почти его касался.

— Много лесов, озеро внизу. Приезжайте после экзаменов, вот и увидите. Мама будет очень рада.

— Спасибо... да... после экзаменов.

Глеб довольно бессвязно еще что-то пробормотал, но красноречия не обнаружил — да его и не надо было. Лера раздумчиво улыбалась, он сам тоже улыбался.

Может быть и Астрагань, а пока и тут хорошо, как прекрасно! Вот бабочка прилетела, разноцветная, уселась на веточку, в том блаженстве тепла и света, как и они сами. А другая, яркожелтая, показалась совсем бесплотною, летит зигзагами, сама весна летит, Психея. И это непременно так, она не зря, она ведь возвестила нечто невесомым и бесшумным своим полетом.

Глеб сказал тихо, для себя неожиданно.

— Как нынче хорошо!

Лера смотрела на бабочку. Но подняла на него глаза.

— Хотите... давайте, запомним сегодняшний день. И как мы сидели вот тут на солнышке.

— Хочу. Это чудесный день.

Они верно назвали, не слукавили и не ошиблись.

Жизнь же обычная шла своим ходом, по своим законам. Посидев на солнышке (ничего ведь и не произошло!), благовоспитанно они вернулись.

Отец продолжал тянуть пиво на балконе. Когда Лера сказала, что пора ей уже уходить, он изобразил изумление и, как нередко делал с теми кто ему нравился, взял ее руку в свою и погладил.

— А я думал, вы у нас ночевать останетесь и

завтра отобедаете... Куда вам спешить? Оставайтесь, поселяйтесь у нас.

Лера отца не знала, шуточек и приемов его еще не усвоила — удивленно, но весело рассмеялась.

— Нет, поселяться не собираюсь.

В дверях появилась мать. Она слышала ютцовы слова. Некоторая тень прошла по ее лицу, но легкая. Она приветливо обратилась к Лере.

— Очень рада буду видеть вас у себя и еще. Приходите, голубчик, запросто.

И обняв, прохладно поцеловала в лоб.

Лера чуточку покраснела.

На звонок Глеб вышел сам. Почтальон подал почту. Одно письмо, с бланком петербургского журнала, именно и должно было попасть прямо к нему, без всяких вопросов, расспросов, Лизы ли, матери или Артюши. Письмо ударило горячим в ноги. Глеб перемогся, сунул его в карман, а «Русские Ведомости» положил отцу на стол.

Свое письмо вскрыл, заперев дверь. Писал редактор. По мере того как Глеб читал, ноги его холодели, в горле сохло. Длинно, благожелательно и почти ласково народник сообщал, что хотя в присланном есть бесспорные достоинства, но в общем это «не подходит», напечатано не будет. «Ну, конечно, я так ведь и знал»... Глеб старался быть спокойным, отложил письмо, принялся было за Тита Ливия. Но сейчас же, с болезненной остротой, вновь развернул бумажку, опять перечел. Да, разумеется. Чтобы утешить, говорит с дарования, это слова, вот если бы напечатал...

Глеб лег на диван, закрыл глаза. Едко и жестоко ныло сердце. Да, и тут пролетел, как раньше в рисовании и живописи. Все равно, пусть и на экзамене провалится, один конец: не удалось, не удалось... «Жизнь не удалась — ну и Бог с ней». Это очень мило, разумеется, что народник такой благожелательный, но и Глеб не ребенок, пустяками его не умаслишь. Нет, он не боится правды. Недоросль так недоросль, неудачник так неудачник. Что же. Это его доля. Жизнь пройдет быстро. И, конечно, в страданиях. Никому до этого дела нет. Вот он, Глеб, бездарный художник, бездарный писатель, лежит сейчас на диване, но никто никогда не узнает, что он чувствует и к чему стремится. Ах, если бы вот взять, вздохнуть... — и не проснуться.

Он лежал на спине, с закрытыми глазами, но не засыпал. Конца не наступало. Напротив, жизнь, таинственный поток, в котором шыл и он, и Лиза, мать, отец, Москва, Россия — продолжался. Солнце милой весны медленно, неотвратно все перемещалось, все вело ковер свой золотой из окна по полу, ковер взползал к Глебу, нежно золотил руку его, протянутую вдоль бедра. В этой руке кипела кровь, в такт биениям ее, как великое радио, сотрясалась его душа, посылала вокруг волны. Глеб был юн, так был полон сил, тоски, непонятного ему самому напора, так сжигался огнем, которому и конца края еще не видно было...

Он не мог больше лежать. Встал, снял пиджак, снял ботинки, оглянулся — в зеркале увидел побледневшее лицо с блестящими (точно бы небольшой жар) глазами. Медленно, чуть приседая, стал красться вдоль стены, потем на диван — вроде леопарда в

штатском — прижимаясь к спинке его. Это ему нравилось. Это было хорошо. Раздирало сердце, но и раздиранье такое утешало.

В дверь постучали.

— Нельзя.

— Глеб-Глеб, это я, отопри.

Голос Собачки. Не труба Иерихона — глас детства, ныне курсистки с фармакогнозией и десмургией. Не отворить невозможно.

Вид Глеба Собачку удивил, но — по сообщаемым сосуздам родного, чутьем женщины безошибочным — она его приняла, поняла, обняла и поцеловала.

— Глеб, Глеб, ты тут в юдиночестве распротраняешься? У тебя от дураков-греков голова кругом пойдет. Вон ты без башмаков, ах ты милый Глебочка, что же ты тут выделываешь?

Глеб смотрел на нее серьезно.

— Я путешествую.

— Как так?

— Странствую. Вот в этой комнате.

Он сделал рукою кругообразный жест.

— Зачем же это?

— Мне так нравится.

— Глебочка, ты на четвереньках?

Собачка спросила таким тоном, точно на четвереньках — самое обычное, точно все происходит в Устах и в детстве. Так же спокойно и Глеб ей ответил:

— Нет, не на четвереньках. Но вот башмаки снимаю. Чтобы диван не замарать — тут у меня и дсрога по дивану.

— Глеб, Глеб, давай вместе! Запри дверь.

И Собачка сняла ботинки. Путешествие возобновилось. Но теперь уже в виде маленького каравана: впереди Глеб, за ним, в шаге расстояния, стараясь попадать в след его — Собачка. Под могучим телом ее скрипнул диван, в одном месте она чуть не опрокинула вазочку. Все же благополучно и даже легко сделали они два тура. На третьем она обхватила его сзади за шею, обняла и захохотала.

— Глеб, Глеб, отпутешествывали! Довольно.

И обрушив его на диван, сама села рядом.

— Ну вот и будет. Я тебя понимаю. Ты чего это такие глупости выдумываешь? Влюблен, что ли, Глебочка, влюблен?

Она гладила ему голову, слегка ероша волосы. Глеб лежал на спине, побледневший, закрыв глаза.

— Я ничего... нет, я ничего.

— Уж я вижу... да ведь ты не скажешь... и не говори. Лежи, Глебочка, отдыхай, тосковать вовсе тебе не надо.

Глеб лежал, сн не говорил, но и не гнал ее. Ему, правда, сейчас было покойнее, время же будто бы шло назад, к дальнему домику Тарховой, невыдержанному экзамену, первому утешению этой же самой Собачки. Как и тогда, мягкая ее ладонь на лбу и на лице заглаживала зыбь в душе — тягостную и мучительную. Но в Калуге Собачка могла поделиться с ним детскими горестями, а теперь любовные свои томления только Лизе поверяла. Также и Глеб словесно не обмолвился о неудаче, да Собачка не так и допытывалась, в чем дело. Она считала Глеба не совсем обычным, еще с детства — особенным. Сердцем понимала, что у него есть что-то на душе — а что именно? Не все ли равно? Если и влюблен, она не

Вилочка Косминская, ее это не задевает. Да нет, причина не та.

Она сидела у него как всегда, до вечернего чаю. Разговор понемногу наладился — совсем обычный. Глеб перед нею не козырял. Лежал на диване тихий, немного грустный, но с каждой минутой чувствовал, что жизнь именно не уходит — не словами думал, а ощущение такое было: не иссякает жизнь, а прибывает, вместе с теплотой тела собачкина и лаской.

В столовую вышел почти уже нормальный. И никак не боялся, что выдаст его Собачка.

В нем было теперь и новое, твердое, без его воли всплывшее: продолжать. Писать, писать, писать! Не Никифор Иванович, не греческие глаголы, не Ливий и Илиада. И не старый народник. Новое, все другое, все свежее...

Ближайшие дни Глеб отдал на розыски Александра. Адрес его не так легко было и достать. В тишине, полной тайне Глеб все-таки раздобыл. Ехать к совсем незнакомому человеку! Он холодел. Может быть, дерзко? Не принято? Как Александров посмотрит? Но не ехать нельзя. Все равно, одержим, болен желанием. Невозможно сидеть, Илиаду читать... хочу и хочу, поздно, не остановишь. И откладывать нечего.

В три часа, в пятницу, вот подходит Глеб к дому № 15 по Владимиро-Долгоруковской. Серая улица за Садовой, к Прузинам. Дворника не оказалось. Спросил худенькую девченку, тащившую лохань с помоями, где здесь живет писатель Александров. Девочка указала вход, добавила: четвертый этаж. На лестнице у Глеба стали леденеть ноги. Куда он идет? На какой Монблан с черного хода? (Лест-

ница оказалась именно для прислуги). Глеб сжимал портфельчик с рукописью, но и ледяных ног остановить не мог. Полутемными закоулками, где иногда попадалось ведро, метла, пахло чадом кухни, поднялся на четвертый этаж. Перед дверью, обитой клеенкой, на мгновение остановился. Ну, да уж что там!

Вся кухня была в пару — он ходил сизыми, влажными облаками. Посреди корыто, в нем стирала белье немолодая женщина с худеньким, приятным лицом простонародного типа. Она удивилась, но приветливо, карими глазами посмотрела на Глеба.

— Я... собственно я... можно видеть Андрея Иваныча?

Женщина улыбнулась, обтерла руки, приотворила дверь в корridor.

— Сынок вот тут, пожалуйста. Сейчас направо.

Она пошла вперед, в темном коридоре постукала в дверь.

— Андрюшенька, к тебе.

Глеб был настолько взволнован, что не обратил даже внимания на то, что бедно-одетая эта женщина с засученными рукавами оказалась матерью Андрея Александрова.

Да и некогда было внимание обращать. Дверь отворилась, Глеб вошел в небольшую комнату. Тут никто не стирал. Обставлено очень скромно — кожаный диван, над ним портрет Толстого, у окна письменный стол, полочка с книгами. Жилье литератора российского, с пепельницей, окурками, табачным дымом.

Андрей Иваныч оказался темнокудрым, темноглазым, быстрым в движениях сыном своей матери. Как и она, очень приветливо поднялся навстречу.

Да, это он. Это он, даже лучше чем он. Глеб давно о нем думал, воображал, старался представить себе его. Андрей Александров был отчасти его наваждением, посетителем одиноких часов и мечтаний. Теперь вот он, здесь, — Андрей Иванович, «Андрюша» и «сыночек». Блестящие, нервные глаза — очаровательные. Нет, не ошибся. Страх сразу пропал.

— Извините, — сказал негромко, но не погибая, — что побеспокоил вас. Я читал ваши произведения, мне настолько понравилось... я и решил...

Тут Глеб начал немного путаться. Но на него пристально, доброжелательно смотрели глаза Андрея Ивановича, сама папирosa в руке дымилась сочувственно. Показав рукой на портфельчик глебов, он улыбнулся.

— А там, конечно, рукопись?

Глеб на улыбку не сбилелся, обижаться было бы глупо: Андрей Иванович, хоть и старше его, но тоже молодой и держится по-товарищески, совершенно просто.

Так оно началось, так и продолжалось. Глеб сидел скромно на стуле, хозяин, непрестанно куря, разгуливал взад вперед, блестя глазами, то поворачивая к Глебу тонкий профиль со вздрагивающими ноздрями, то в упор на него глядя, как бы магнетизируя. Дымящейся папиросой рисовал на ходу узоры в воздухе. Правой рукой по временам поправлял волосы на голове.

Все Глеба затягивало: и комната, и диван, и почерк хозяина — на столе лежал исписанный им лист. Более же всего он сам — то, что у него прекрасные глаза, нервно-меняющееся лицо, мягкий говор московско-орловский, такой простой, светлый тон с не-

знакомым. Опыянение Глеба росло. Покорение завершалось.

Может быть, это чувствовалось и в лице его. Подделать восторженный взгляд нельзя, нельзя веру подделать и обожание. Андрей Иванович сам еще молодой писатель, недавно начавший — вст пришел к нему неизвестный поклонник, который — если бы и захотел — не может скрыть чувств. Все написано на юношеском лице.

Андрей Иванович не знал еще, в каком роде и как пишет Глеб, но заранее был к нему расположен. Избалован еще не был. Не первый ли почитатель и явился к нему, вот так с улицы, преодолев робость?

— Я прочту, прочту тотчас, и напишу вам. Нет, толстый журнал, конечно, не годится. А тут скоро будет выходить новая газета и меня как раз просят заведывать литературным ютделом. Вот что-нибудь нам маленькое, импрессионистическое, знаете ли. Эту вашу рукопись я прочитаю, но она велика.

Он стал листать ее, просматривая.

— Ну да, в форме лирического дневника. Я так и думал... — Он опять улыбнулся. — Разумеется, для того журнала не подходит.

— Да я.. эту вещь вовсе и не для печати... это так, для себя.

Тут Глеб преувеличил. Но настолько был увлечен, настолько любил сейчас Андрея Ивановича, что охотно ему уступил бы эту рукопись (всю слабость которой вдруг почувствовал). Нет, это не то, конечно. Он напишет другое, настоящее, что воистину понравится.

А хозяин курил уже третью папиросу. Держа ее меж вторым и третьим пальцем левой руки, расха-

живал все быстрее. Говорил о литературе. Довольно эпигонства, пережитков реализма! Идет нсвое, только оно может освежить...

Ясно, что именно это новое и вычерчивает узоры своей папиросой. Глеб не спускал с него глаз. Да, тайное желание не обмануло. Решительный день! Не напрасна была тоска, все томление последнего времени. Да, сюда, в эту узкую комнату с кожаным диваном и портретом Толстого. Да, все правильно.

— Матушка принесла на подносе чай с вареньем. Андрей Иванович сел.

— Мать, готовь нам еще по чашке. Самое время.

Он ласково погладил ее по плечу — как старую и милую игрушку.

— Да мне не жаль, Андрюшенька, ты не подумай... Мне не жаль. Кушайте с Богом.

Эта мать уж несколько на глебову не походила! Но он от всего сейчас был в восторге.

Андрей Иванович стал Глеба расспрашивать о его жизни, семье. Рассказывал и о себе.

Время шло. Оно полно было для Глеба высшего значенья. Он себя чувствовал так, будто уж давно они знакомы, будто и ничего нет удивительного в том, что вот он распивает чай со своим старшим братом, которого вчера и в глаза еще не видал.

Расстались на том, что прочитав рукопись Андрей Иванович Глебу напишет, они опять поговорят, а когда выйдет газета, Глеб попробует свои силы на небольших вещах.

V.

Первый класс был как полагается — синий вагон с длинным корридoром, купэ с диванами красного бархата, на спинках белые вышивки. Пустынно, тихо, в фoнape над входом полузавешенная свеча. Никифoры Иванычи, латынь и греческий и тревослнения зимы московской, экзамен в Шестой Гимназии — все вчера, навсегда ушло. Начинается новое.

В известный момент поезд с полу-пустым первым классом, везя новоиспеченного, нарядного студента, отошел. Поезд не торопился. Он составлял часть той небыстрой, крепкой и наполненной России, что могуче воздвигалась на своих пространствах. Огоньки близ Ваганькова ухалили, путь лежал мимо Кунцевых, Голицыных, подмосковными лесами и полями, вблизи разных Архангельских, Ильинских по Москва-реке.

Глеб стоял у окна, смотрел пред собою на тучу, во мгле тогда сбнажавшуюся, когда дальние молнии раздирали ее сухим золотом. Этот свет был прелестен. Он таинственно блистал Глебу в сердце — освещал, вновь во мрак потружал, возбуждал, но и успокаивал. Одиночество нужно было ему сейчас. Вновь переживал он происшедшее. Для других, может быть, и неважно. Для него важно.

Второй день Пасхи — поздней Пасхи конца апреля. Глеб в волнении едет на извозчике на Волхонку. Разные молодые и немолодые люди летят с цветами и конфетами на лихачах, все с такими же целями, что у него: с визитами. И разноголосый, пестро-светлый гомол колоколов Москвы все это веселит, подгоняет: мчитесь, летите, везите свои цветы — Христос Воскресе!

Это же Христос Воскресе Глеб привез в узенькую прихожую четвертого этажа на Волхонке, и почтительно поцеловал ручку овцевидной лериной матери (отец, слава Богу, уехал в Петербург). Среди куличей, красных, зеленых яиц сама Лера сияла молодостью и приветом. И потряхивая кудряшками на лбу, матан, Поликсена Ильинична, угощала Глеба заварной пасхой кондитерской, пасхой собственного изделия, пасхой лериной и куличами. Тесна и скромная квартирка, но в окно пестрый свет, в окно светлый звон, вся Москва входит этими колоколами, грохотом пролеток, воробьиным щебетом, нежной зеленью тополей из Архива Иностранных дел. Входит вся эта прелесть и отражается, и усиливается в светлой младости Леры, в пышном нежном теле ее, от свете зеленоватых глаз. Глеб смущен, остр, но радостен. Не слова важны, другое.

«Матан, Глеб Николаевич раньше начала июня в Астргань не сможет попасть, у него экзамен»... Матан любезно кивает, улыбается. (Нет, это приличный молодой человек, она его не боится). «Очень рада буду вас видеть... Тем более, знаете, мы там одни, Лерочке скучно»...

Кондуктор идет. Глеб опять чувствует себя взрослым, нарядным пассажиром первого класса. О,

теперь разница с тем днем пасхальным! Теперь он студент. Не напрасно учил его Никифор Иванович. Не зря, значит, все «анетметесан тас кефалас».

Постояли на глухой станции, дальше двинулись. Туча так же далеко, молнии реже. Но такая же тишь, ширь полей российских. Утоляющий мрак. На нем ярче совсем, совсем недавний день солнечный, перелуки замсскворецкие, знаменитая решетка двора Шестой Гимназии, острый запах краски, холодок волнения... в большой зале экстернов за зеленым столом экзаменаторы, и Титы Ливии *à livre ouvert*, и спокойный, медлительный как вечность Гсмер.

Все это было, да как бы и не было. Сном ушло в ряд других снов, тоже бывших, тоже минувших. Сном станет и это странствие. Но пока что оно продолжается. Не век стоять в коридоре. Ноги устали, Глеб перебирается в купе. Там вынимает из чемодана подушечку и ложится. Мягко идет вагон! Чуть вздрагивает пальцы на крючке подле фонаря. Астрагань, Лера, Поликсена Ильинична... Что это за такой шаг? В синеющей мгле вагона ясно он видит Леру, с некоторым замиранием, как рад встретить завтра! Но кто он? Что он ей? — Ничего не знает, едет и едет, что там будет увидит, а сейчас вот лежи так, слушая погромыхивание колес.

Он долго не мог заснуть. Вспоминался и Александр — Глеб вновь у него побывал. Рукопись он прочел и одобрил, но конечно надо дать для печати что-нибудь покороче. Все неясно, все впереди — все-таки в будущем что-то уж скрыто. Это наверно. А сейчас Александров на даче, в Царицыне под Москвою. Надо к нему тоже съездить, он зван.

Глеб перевернулся, вздохнул. Давно не чувство-

вал себя таким и взрослым, серьезным — важным, даже, что ли?

Поезд идет. Где надо и остановится. И пока Глеб с надеждами своими, силами и помыслами покачивается в купе, на диване бархатном, мимо проходят Можайск, Бородино с полем сражения, Наполеоном, Толстым. Скромная Вязьма с шряниками. Вдали, очень еще вдали, сквозь поля и суглинок, сквозь леса — много их тут! — далее Духовской сам Смоленск. Древний, славный, многострадальный Смоленск.

**
*

Глеб не так представлял себе Астрагань. Уж на Духовской слегка удивился, увидев не коляску тройкой с кучером в плисовой безрукавке, а пару в тележке с вихлястым парнем на козлах. Все подержанное, более чем скромное. Езда трухом. Более часа до Астрагани.

Там тоже получилось странно. Со смоленского шоссе, на полугоре, свернули направо, проселком в лес. Парень слегка оживился, хлестнул пристяжную. Обернулся к Глебу. «Она самая и есть, Астрагань».

На лесной поляне, не так давно и разделанной, завиднелся дом — деревянный, небольшой, скорее по крестьянски, чем по барски срубленный. Только мезанин выдавал — да и тот сидел слишком уж грузно. Никаких колонн, парка, старомодно-тургеневской поэтичности. Вернее бы сказать: на довольно некрасивом месте, где наверно много комаров, лесной хутор с пристройками и молодым садом.

Парень все-таки подкатил рысью, изо всех сил. Стал накрапывать дождичек. Пассажир первого клас-

са не весьма был покоен. Новое место, все здесь чужое. Разумеется, Лера... — ис Поликсену Ильиничну он почти и не знает. Жутко.

В прихожей неловко улыбнулся, покраснел, поцеловал ручку Поликсы Ильиничны.

Лера была в скромной кофточке, по-деревенски, букетик незабудок на груди, вся свежая и улыбающаяся. Как всегда, на голове светлый дым волос.

Как ни любила приличия, как ни боялась всего овцевидная тамапа со своими кудряшками, выпуклым лбом, институтскими манерами, все же полна была гостеприимства и благодушия всероссийских. «Не устали в дороге? Ну, слава Богу! Вот и прекрасно, у нас после экзаменов отдохнете. Да? Трудно, наверно, экзамены-то? Очень трудно! Ну, Лерочка, надо Глебу Николаевичу комнату его, ну показать его комнату. Вы кушать, наверно, хотите?» Она говорила быстро, не совсем внятно, смотрела на него, вытягивая вперед гортань, светлыми, слегка на выкате близорукими глазами с выражением благожелательной бессмысленности. Во всей ее худоватой фигуре, в небрежности одежды, в общем духе бестолковости, от нее исходившем, было и чуть смешное и почти трогательное.

Лера повела Глеба наверх, по узенькой, скрипучей лесенке. Ему показалось, не в курятник ли какой? Но он лез покорно. Мезанинчик был, правда, скромный. С площадки две двери — Лера толкнула одну, парень втащил за ней глебов чемодан. «Это ваше жилье», весело сказала Лера. «А напротив мое. Я очень рада, что вы приехали. А вы?» Глеб улыбнулся. «И я рад. Очень рад».

Лера ушла, он стал разбираться. Комната невы-

сока, вся пахнет свежим деревом, довольно чистая. Нет, не курятник, а быть может вроде дачи под Москвой. Стеклянная дверь выходит на балкончик, крытый, тесный, выходящий на поляну. За ней лес.

Глеб вдохнул густой, прелестный запах леса. Что-то и чужое, и свое здесь, милое и ненужное. Вон он куда заехал! Вдаль. Как-то все будет? Как-то? Ну, за несколько дней...

В деревне для приезжего трудней всего первые часы — надо войти, примениться к чужому складу. Да и претерпеть некоторые обряды.

За завтраком, внизу в столовой, Глеб чувствовал себя еще несвободно. Кроме Поликсены Ильиничны и Леры оказался тут гимназист Митя, лерин двоюродный брат, толстый, здоровый и веселый малый лет четырнадцати. Так же, как Глеб, усердно уплетал яичницу, но считал себя дома и совсем не стеснялся. Поликсена Ильинична иногда с ужасом на него взглядывала — он беззастенчиво вылезал с локтями на стол. «*Les coudes, les coudes!*» шептала она грозно. Кудряшки ее подрагивали. Но грозности не получалось. «Виноват, тетенька, я сейчас»... И сняв локти, вдруг начинал ковырять в носу. Лера смеялась — и на него и на мать. Митя всех обгонял в еде, болтал ногами, вскакивал иногда с места — ловить муху.

«Глеб Никлаевич, я после завтрака покажу вам нашу Астрагань», говорила Поликсена Ильинична. «Знаете ли, нашу усадьбу, все постройки, службы, сад... это, видите ли, так сказать... любимое детище мужа, но его сейчас вызвали в Петербург в министерство. Я покажу вам все его хозяйство».

Земляника со сливками имела успех. Митя так

на нее навалился, что Поликсена Ильинична с ужасом зашептала: «Dmitri, tu auras un flux de ventre» — Митя усмехнулся и ахнул еще тарелку.

Дождичек перестал. Все было серебристо-жемчужно, нежно в воздухе. Из-за облачков, слабо видимое, пригревало солнце. Капли сияли по траве, на кустах сирени. Но все так быстро сохло, что не побоялась Поликсена Ильинична тотчас вести Глеба по хозяйству. Лера улыбнулась. «И я с вами». Она видимо была в добром настроении. Поликсена Ильинична надела калоши, какую-то удивительную тальму, взяла в руки палку. Митя убежал рыть червей. Караван тронулся.

Хозяева считают, что гостю все должно быть интересно. Как бы чего не позабыть! Не пропустить какой достопримечательности. «Вот тут, знаете ли, у нас свинья... да, видите, какая свинка, это их закута... свинья. А вон там загородка для цесарок. Александр Степаныч цесарок любит»...

В конюшню стояла пара только что вернувшихся лошадей. Глеб узнал, где и когда они куплены, сколько заплачено. Особенное уныние навели на него бессмысленные коровы — вечный облик вялости и тупоумия. А меланхолические индюшки? — «Александр Степаныч, по характеру службы... ну, должен в столице работать. Но сохранил эту дворянскую привычку к земле, имениям, хозяйству. Большого, настоящего имения мы, разумеется, приобрести не могли, ну вот он и завел... так сказать... un petit mon repas».

Глеб улыбался, поддакивал, делал вид, что ему все это интересно.

Скоро они оказались с другой стороны дома в

молодом фруктовом саду. Тут он узнал, что Александр Степаныч сам сажал все эти яблони, сам выбирал их сорта, и вон те груши тоже его рук дело, и сливы, и крыжовник. Осенью, когда приезжает в отпуск, сам сбрывает их, даже окапывал в прошлом году. «Но это вредно. Для его возраста, и такая тяжелая работа. Нет, нет, я этого боюсь». «Мама, вы всего боитесь, я же знаю» — Лера подмигивала за ее спиной Глебу зеленым глазом. «Мама, вы наверное спасаетесь, что меня забодает этот теленок». «Ах, теленок в саду Александра Степаныча.. пошел вон, пошел вон!» Поликсена Ильинична замахала на него палкою. «Если б Александр Степаныч увидел, то рассердился бы. Может прививки поломать».

Теленок особенного внимания на нее не обратил — подпрыгнул, махнул хвостом, продолжал траву пощипывать.

«Лерочка, как же так, нельзя же его оставить...» Тут для Леры и Глеба открылась интересная деятельность — кинулись его выгонять. Лера махала шарфиком, Глеб усердно прыгал между молодых яблонь, обдававших мокрым серебром, по мокрой траве, тесня врага к калитке. Враг козловал довольно забавно, задирая хвостик, но отступил, выскакал на двор обратно. Лера смеялась, приподняв край платья. «Я совсем промокла, только не говорите мама, она сейчас же вообразит, что у меня начинается воспаление легких. Да впрочем.. знаете что? Пройдемся лучше одни, к озеру. Хорошо?» Разумеется, это было хорошо. Лера крикнула матери, что здесь мокро, они лучше пройдутся с Глебом Николаевичем по шоссе к озеру. Поликсене Ильиничне пришлось согласиться. А Лера живо вывела Глеба на то самое шоссе, по

которому он приехал с Духовской. Но теперь они спускались вниз, под гору — в противоположную Духовской сторону. «Мамап может вам наскучить своим хозяйством. Мы лучше одни погуляем». «С удовольствием».

«Ах, в этой Астрагани действительно скучно, вы очень мило сделали, что приехали». «Чем же вы тут занимаетесь?» «Немного играю на пианино... там у нас в гостиной. Пою. Да все это так... Романы читаю. Правда, у меня сейчас есть очень интересный. Знаете, Дюма «Монте Кристо».

Глеб Дюма не читал. Но презирал заранее. У него был твердый взгляд, что Дюма ничего не стоит. Он, однако, прямо этого не сказал, промямлил нечто неопределенное.

— Я очень люблю романы. Терпеть не могу будней, хозяйства. Я люблю такие, знаете ли — возвышенные чувства и приключения в романах. И чтобы любили друг друга на всю жизнь...

— Да, конечно...

Лера начала воодушевляться. Редко приходилось ей говорить о литературе и «своих слов» у ней было маловато, но сейчас ее несла та сила, что таилась в ее молодости, в жажде того, что составляло стержень существа ее.

— Мне нравятся такие романы, где, если друг друга любят, то уж на каторгу один за другого пойдет. Вот это по-моему любовь!

Озеро было как бы двойное, по обе стороны шоссе. Чрез узкое его место мост и далее шоссе опять в гору, к Смоленску. Все вокруг в лесах. Лес направо, на той стороне, отражался зеркально, берега стеклянцо белели в воде, их листва реяла зе-

ленью прозрачной — тиха струилась. Солнце сияло, уже предвечернее, золотеющее в погожем после дождя дне.

— Помните, мы в Москве раз гуляли у вас в саду, у Чистых Прудов? Такое солнышко тоже было. А вы не забыли, что мы тогда друг другу сказали?

Лера прислонилась к перилам. Солнце ее заливало. Глеб улыбнулся.

— Нет, не забыл. Тот вечер был тоже очень хороший. Я его помню.

— Значит помните?

— Помню.

Как бы слегка смутившись, она вдруг обернулась назад.

— А вся там, ниже, видите, мельница. Но туда мы редко ходим. Там Митя рыбу ловит. Целыми днями с удочкой пропадает.

Они спустились, сели на бревно, валявшееся у шоссе. Над озером плавными, легкими качаниями летел рыболов — коричневатый, с белым брюшком. Глебу напомнил он детство, Калугу, Будаки. А потом вдруг выплыл занавес Художественного Театра, с той, его чайкой. Теперь он спросил Леру:

— А вы помните один вечер в Москве, в театре? Мы еще смстрели «Чайку»?

— Разумеется! Было так весело.

— Может быть, около такого вот озера и жила Нина Заречная.

— Кто это Нина Заречная?

— Да... в пьесе.

Лера слегка смутилась.

— Ах да, в пьесе... Там еще такая темнота на сцене и говорят довольно непонятное.

— Ну, пьеса замечательная!

— Конечно, очень миленькая, но только странная...

Лера чувствовала, что почва под ней зыбкая — поспешила отступить: стала расспрашивать о Лизе, Вилсчке Косминской.

Если б расспрашивала Поликсена Ильинична, было бы так же неинтересно, как о молодом саде. Лера же дело другое. Ей самой важна не Лиза и не Вилочка. Потому и считали они оба, сидя на бревне пред астраганским озером, что проводят время занимательно — плодотворно.

Солнце ласково их освещало, со всегдашней своей, неземной ласковостью. Но из-за них не задержалось бы и на минуту. Когда нижний край его был уже близок к верхушкам берез, Лера поднялась.

— Я вас проведу по другой дороге.

И они пошли берегом в сторону усадьбы, а потом тропинкою поднялись к дому.

Там вступили вновь в круг деревенского обихода русского: не так давно ст. стола, а уж вечерний чай с булками и со сливками, маслом, вареньем, с жужжащими над ним осами. «Вы наверно проголодались, Глеб Николаевич... знаете, у нас запросто... но все же поправляйтесь после столицы» — Поликсена Ильинична рада, что они во-время вернулись, что ни бык не забодал их, ни медведь не съел.

И вот — хоть и в Москве не голодал — Глеб будет здесь всходить на сливках, масле, сыре шестичасового чая. Но это, разумеется, не значит, что в девять не подадут ужина.

Вечером Лера пела чувствительные романсы, аккомпанируя себе на пианино. Митя поймал не-

сколько окуней. Требовал, чтоб их тотчас зажарили. В кухне налаживались уже вареники, телятина, компст.

**
*

Дни в Астрагани проходили медленно, довольно ровно. Глебова соседка мило держалась. Утром долго мылась, полоскалась, к чаю выходила свежая и веселая — от нее пахло хинной водой. Светлые ее волосы вились сами, а когда дождь собирался, завивались в тугие кольца, очень легкие. Глебу нравились эти кольца, нравились белые батистовые кофточки ее. Нравилось, когда она за крокетом, после кофе, неловко и смешно крокировала молотком свой шар, но смеялась весело, легко пробегала по площадке. Ему многое в ней нравилось. Уходя к себе наверх, сидя один на балкончике с книгою, он о ней думал. А как следует не мог надумать. Улыбался про себя, но и смущался. Еще со времен Анны Сергеевны знал то сладостное и томительное, грустно-радостное волнение, какое внушает образ женщины недостижимой. Не так давно стал испытывать и другое — очень уж весомое и ясное, острее, мутившее разум: к женщинам более простым. Этой силы в себе и стыдился, и скрывал ее, сколько мог. Но она жила и не убывала, скорей разрасталась.

Лера не принадлежала ни к тому типу, ни к этому. Он ее слишком видел, чтобы она стала для него фантазмагорией. Но и не смел попросту желать, она прелестна, но и за чертой.

Что же такое он? Ну, молодой студент, захавший сюда, вместе они гуляют, играют в крокет, обедают и ужинают... а дальше? Как вообще с нею быть,

как ее считать? Если действительно... — то все должно всерьез кончиться Но это уж выходит как-то странно, почти жутко.

На той стороне тоже была неясность. «Мамап, как вы находите Глеба Николаевича?» Поликсена Ильинична беспокойно встряхивала кудряшками. «Он, Лерочка, ничего... порядочно воспитан. Вежлив. Но все-таки... странный».

Лере и самой кажется, что странный. Но хочется возражать. «Что же в нем такого? Просто серьезный». «Ах, я не осуждаю. Ну, из новых, знаешь, и я опасаясь, что среди студентов, всегда такие... разные идеи... Вот ему и Императорское Техническое пришлось бросить». «Он вовсе не левый и не революционер, совсем даже этого не любит». «Боже упаси, я и не говорю, он серьезный, я понимаю. Очень иногда задумчиво смотрит. У себя наверху начнет из угла в угол ходить... Молодому человеку не надо много думать. А ты заметила, Лерочка, когда ест, то удивительно переворачивает во рту ложку, я никогда раньше... ну, так сказать не видела, чтобы так делали».

Тут Лера засмеялась. «Мамап, вы бы послушали, как он пальцами щелкает. Заложит руки за спину и стреляет. Но ведь это же не такая беда».

Лера и без матери понимала, что Глеб совсем непохож на тех лицеистов в треуголках, с красными воротниками, которых иногда она встречала. Или на кандидатов на судебные должности, молодых товарищей прокурора, бывавших у отца. Совсем другое... — из иного мира, из иного теста. Лера вообще мало думала, но все-таки, ложась у себя наверху спать, раздеваясь, засыпая на деревенской постели, водру-

женной на двойных козлах, старалась себе объяснить, почему он такой замкнутый, почему будто и мил с нею, ласков, но всегда одержан, а потом вдруг и холодноват. «А может быть, он меня уже любит, но не умеет высказать? От застенчивости?»

Однажды, перед вечером, они вышли вместе на прсгулку. Дождь только что кончился. Было тепло, серо, очень тихо и как-то загадочно в природе. Лера несла корзиночку для земляники. Глеб себя нервно чувствовал. Но ему нравилось идти за ней, попадая в легкие ее следы. С большой Смоленской дороги свернули в березовый лес, потом пошел смешанный — осинки, ели. Земляники тут оказалось мало. Но тишина... — капли иногда падали с деревьев, пахло очаровательной горечью сложенных не遠далеке дров, душиным дурманом какого-то белым цветущего кустарника. Горлинка закурлыкала — полусказочная птица лесов русских.

Понемногу, тропинкой дошли до вырубki. Стало теплей, светлее, зажемчужилось в облаках. Появился розовый на длинных стеблях иван-чай, ежевика, брусника. Кой-где рыхлые холмики кротовых нор.

Лера подошла к кусту — вдруг как бы выстрел раздался оттуда — с треском, грохотом, обдав ее серебром брызг, вылетел краснобровый черныш, весь черноблестящий, могучий, мужчина, самец. Он летел с силою господина этой вырубki — и умчался вдаль. Лера вскрикнула, отшатнулась. «Фу, напугал...» Она чуть прислонилась к Глебу, как бы и под его защиту. Локоны выбились из-под платочка. От нее пахло хинной водой.

Глеб молчал. Сердце его тяжело билось. Во влажной духоте леса, при комариках, неустанно

разыгрывавших свой танец колоннкою близ можельника, он чувствовал на себе тяжесть крупного, всегда столь легкого, а теперь ослабевшего девичьего тела. «Испугались?» «Ну... теперь нет». Но она не высвобождалась. Оба они были несколько бледны, точно бы и оба испуганы. И глаза совсем близко, дыхание почти сливалось. В лесу все так же тихо, только дятел медленно, с упорством и старанием надалбливает песнь свою скромнейшую. Глеб через силу улыбается. «Вот... черныш какой здоровенный... и как вас напугал». Лера вдруг подняла корзиночку с земляничкой, отодвинулась. «А мало мы с вами собрали. Мамап будет недовольна». Глеб пробудился. «Надо бы постараться, надо бы» — он нервно оживился, заговорил, точно и вправду было ему интересно набрать земляники для мамап. И усердно стал лазить между мелких кочек в ковыле, где больше попадалась волчья ягода да тетеревиный помет. Лера тоже как будто собирала. Была рассеяна.

Земляники набрали немного, но вернулись не совсем такие, как вышли — по дороге даже мало и разговаривали.

Вечером Лера усердно засела за рояль, пела какие-то упражнения, разводила гаммы. За ужином нервно смеялась. Спать ушла ранее обычного, у себя в комнате долго всзиалась. Глеб с балкончика видел полосы ночного тумана у леса, ранний месяц луком своим не мог преодолеть серебра низин. Глеб чувствовал себя взволнованно и неясно.

Весь следующий день Лера была очень оживлена, почти резва. Весело играла в крокет. Она рассказала почему-то, что прсчла недавно о знаменитой Нинон де Ланкло, как та почти до старости пылала

сердцем и встречала ответ. — Во время этой болтовни вставляла иногда французские выражения. Глеб попытался тоже, но неудачно. Вместо *je desire que vous...* — сказал *je vous desire* — Лера шумно его осмеяла, он сам сконфузился, но тоже улыбался и ему не было неприятно.

После ужина, когда поднялись наверх, Лера зашла к нему. Было еще не совсем темно, тихий вечер. «Тут вам наверно неудобно, все такое простенькое... даже стола хорошего нет». «Благодарю вас, все что нужно». «А вам вообще не скучно у нас?» Глеб уверил, что вовсе не скучно. «Завтра в Смоленск поедем. Вы, я и Митя. Согласны? Мне там кое-что купить надо».

Лера села на диванчик с видом как бы хозяйственным, близкого, своего человека. Глеб присел тоже. «Мне очень нравится в Астрахани у вас, а время так быстро идет, уже скоро домой». «Куда это так спешить?» «Пора... я здесь уже вторую неделю». «Что же из этого?» «Из дому на две недели уезжал... так и матери сказал». Лера засмеялась. «Вы как маленький... Мама боится». Глеб немного вспыхнул. «Не боюсь, все-таки нельзя же тут поселиться». «Ну, до поселения далеко. А в деревне принято подолгу гостить». Но Глеб стоял на своем. Лера усмехнулась. «А ваша мама серьезная. И верно с характером. Оттого вы и послушный. Я ее немного боялась тогда, на Чистых Прудах. Но она такая... *distinguée*».

Месяц подымался над лесами. Мутным пятном светлел за облаками, почти невидимый. В комнате темно, чрез стеклянную дверь маячат столбики и перильца балкона. Вытянув на табурет ноги, Лера полужелит на диванчике, Глеб рядом. Разговор медлен-

ный, вполголоса. «Если бы вам очень нравилось здесь, вы бы остались, несмотря на маму». «Мне очень нравится». Пауза. Комар, долго напевая тоненькую свою песнь, садится на лоб Леры. Она его отгоняет, но не сердится. «Вы понимаете большую любовь? Ну вот так, на всю жизнь?»

Как может молодой человек, в таинственный и тихий вечер, и в уединении, с милой соседкой ответить, что любви не понимает? Разумеется понимает. Ему хочется сказать что-нибудь глубокомысленное и серьезное, никем еще не сказанное, вроде того, что любовь есть «таинственное стремление души в вечность». Лера воодушевляется. Разговор принимает еще более острый оборот. «Если бы человек, которого я полюбила, оказался в несчастии... например, в тюрьме или на каторге, я бы за ним пошла. Вот, ваша сестра поехала же за своим женихом в Нежин и наверно в Сибирь поехала бы, если б его туда сослали. А вы... вы могли бы пойти на каторгу за любимой женщиной?»

Глеб был очень молод, но считал себя взрослым, даже опытным, с горестным взглядом на жизнь. Сейчас вдруг оказался чуть не мальчиком. Это даже понравилось, освежало и расправляло. «Я тоже мог бы пойти на каторгу за любимой женщиной» — он сказал это тихо, но искренно, теплый свет освещал для него тысячекратно повторявшиеся, милые в наивности своей слова. Вместе со светом этим ощущал под ногами разверзающуюся неизвестность — вот-вот ухнет он туда, и уж тогда...

Лера чуть было не сказала: «И за мной бы пошли?» Но не решилась. Только взяла его за руку — этим как бы и сказала. Но все-таки и ответа ждала.

Неизвестно, в словах или не в словах, но ответная молния должна бы блеснуть. Глеб молчал. Он ощущал растрепанность, почти и умиленность, но рядом — рядом тут прыжок. Дух захватывало. Что-то в нем самом прочное и устойчивое держало крепко.

Месяц подымался, полусумрак. Тонко звенел кс-мар. Они были одни в ночи таинственной, лерина рука в его руке. Некоторое время она держала ее так, потом отняла.

— Отчего вы вдруг стали грустный?

Она спросила тихо и ласково. Глеб рассеянно пробормотал:

— Нет, я ничего... Я не грустный.

— Так что же?

Он не ответил. Потом вдруг спросил:

— А тут сколько верст до Смоленска?

— До Смоленска... Ах, это насчет псездки. —

Она немного перевела дыхание. Не совсем прежним голосом ответила: — Кажется, двенадцать. Вас это интересует?

Глеб ясно почувствовал, что и не интересуется и вообще он сказал глупость, но поправляться было поздно.

— Нет, я так, вообще.

Лера поднялась, вышла на балкончик. Глеб за ней. Балкончик низкий, головы их чуть не касались наката на потолке. Лера обвела взглядом двор, строения, леса.

— Все спит. И нам псра. Вам, кажется, Глеб Николаевич, и особенно.

Она подала ему руку, пожала и осторожно вышла с балкона и из комнаты.

Глеб остался один. Разделся, лег, и все один

был, только со своими мыслями. Они тучкою над ним стояли — эта тучка из него исходила, ему же и не давала спать. Что с ним такое происходит? Вот только что Лера была здесь, теплая и живая, полулежала на диванчике, с ним рядом. О, разумеется, она прелестна, даже с романами Дюма, «миленьксий» пьесой «Чайкой», с намерением пойти на каторгу за любимым человеком. Глеб напрягал воображение. Ну, она ему очень нравится, что говорить... очень. Видит ли он себя с нею? Видит ли жизнь надолго — навсегда? Если бы они были муж и жена, как его отец и его мать? Тут воображение его слабело. Нет, он другое что-то видит. Сказать, что тамап, с овечьим лбом, кудряшками и близорук-белокурыми глазами будет его *belle-mère*, что тестем — юрист, педант, занятый гражданским правом... И сама Лера... — ей нужны туалеты, квартира, общество провинциальных дам, столько же понимающих в литературе, как она сама. А в то же время: какая тайна, радость в расцветающем ее существе!

Вместо одного комара теперь появилась целая компания. Не уставали они тонко звенеть над Глебом. Он ворочался, отгонял их, перекладывал теплую подушку. Может быть, даже комната поднагревалась от его томлений. Тучка мыслей-чувств росла. И балконная дверь стала сереть в рассвете, а он все не спал.

Вдруг в лериной комнате раздался шум, не очень сильный, но ясно было — что-то упало. Глеб смутился. Не знал, как быть: пойти ли помочь? Неудобно ли, в такой час? — На лесенке раздались шаги — снизу подымались. Потом слышно было, как Поликсена Ильинична вошла к Лере, внося мигаю-

щий свет свечи. Что-то двигали, переставляли. Видимо, дверь осталась открытой, да и глебова не вполне притворена. Недовольный голос Леры: «Потому что это убожество, я все время говорю... на такой постели нельзя спать. Дурацкие козлы... Конечно, они разъехались, я могла руку себе сломать». «Лерочка, такой грохот, я испугалась даже...»

Глеб улыбнулся. Ему и жаль было Леру, но скрыть улыбку все-таки он не мог. Бедная Лера, чуть руку не вывихнула!

К утреннему чаю он вышел позднее обыкновенного. Но и Лера задержалась. Она была в белой кофточке — это бледнило, да и так вид усталый и недовольный. На Глеба почти и не глядела. «Может, нам бы в крокет сыграть?» Глеб спрашивал неуверенно. «Хорошо, сыграем» — она откусывала кусок хлеба с твердым, глянцеви́то-желтым маслом, вид у нее был равнодушный. Допила чай, вяло поднялась. Вслед за ней потянуло слегка свежестью и хинной водой.

Играла на площадке рассеянно, как бы и раздраженно. В середине партии вдруг выпрямилась, обернулась к Глебу. «Если вам не хочется ехать в Смоленск, вы можете остаться. Я с Митей поеду». У ней было сейчас другое чем обычно лицо. Как холодны зеленоватые глаза! В них совсем нет прежней приязни. «Нет, почему же, я с удовольствием». «А то Митя отлично меня доведет».

Крокет кончился сумрачно. Лера молча ушла. Глеб поднялся к себе наверх. Все представилось ему смутным и холодным. Грустно. Он здесь не свой. Этот лесной хутор топ герос, деревянный дом со смешным мезанином, кроватями на разъезжающихся козлах, близорукая татап в кудряшках... Лера? Ах,

Лера, но вот она в хмурых туманах, что он ей, в конце концов? Студент первого курса! «Она выйдет замуж за какого-нибудь товарища прокурора. А я совсем не то». Глеб не мог сказать, что такое он, но с товарищем прокурора разницу чувствовал. Нет, он один тут, «как всегда и везде» — к меланхолическим размышлениям склонность его не ослабела.

После завтрака, часам к четырем, вихлястый парень подал все ту же скромнейшую пару в тележке. На козлы сел Митя, Глеб с Лерой рядом — в передке тележки корзинка, мешечки для покупок. «Лерочка, не забудь манной крупы у Нефедова и полголовы сахару». «Да, да, помню». Митя тронул. «И еще горчицы...» Лера нетерпеливо махнула рукой. Поликсена Ильинична, с вытянутой вперед шеей, выпуклым лбом, мелкими над ним кудряшками осталась позади, на крыльце. Деревенское путешествие началось.

Оно по-разному прстекало для разных. Митя веселился открыто. Счастлив был, что сидит на козлах, «за управляющего», в руках возжи, кнут под сиденьем... «Но-о, вы, любезные» — под гору к мосту пустил во-всю, подсвистывал, подкрикивал — в горку любезные едва втащили. А потом поплелись трухом средь полей, лесочков по шоссе к Смоленску.

Лера сначала совсем хмурилась, потом слегка отошла — но не для Глеба. Особенно ласкова была с Митей, лишь с ним и разговаривала, будто Глеба и нет.

А ему теплый серенький день скорей бы и нравился, и езда на нехитрой паре, блеск подков, толчки на выбоинах дороги — все свое и родное, Русь. Но на сердце невесело. Что же, он провядился в чем-

нибудь перед этой Лерой? Не так сделал? «За что?» В малоопытности своей еще этого не понимал, просто чувствовал одиночество, как бы пскинутость.

Смоленск издали завиднелся куполами церквей, башнями древней стены — так, туманно, в теплом облачном дне и запомнился. Как сквозь сон! Незаметно подъехали, въехали, тележка остановилась у городской стены, или у бульвара? Или это только казалось так? Смутно, так смутно осталась в памяти Глеба эта поездка.

Точно бы где-то благсвестили. Башня вековой седины воздвигалась совсем близко, над тьмой зелени лип. Липы как будто цвели — медово.

Останавливались у разных лавок. Потом Глеба оставили с лошадьми, на какой-то лужайке. То он сидел на козлах, то прогуливался взад вперед, ошмурыгивая ногами траву, пощелкивая за спиной пальцами. Смоленск как бы обнимал, заключал его. Но казался пустынно-тихим. Там вон остатки древних стен, вроде кремлевских. Кто-то осаждал, кто-то и защищал этот город, и века прошли, теперь ворона, каркая, бессмысленно летит, мещанин прсходит, везут воз сена, да вот он, Глеб, в смутной грусти, ожидает Леру с Митей — может быть, они наконец притащут «пол-головы сахару от Нефедова», или от кого там еще?

В некоторый момент они, правда, появились. Шли, весело болтали, а подходя стали прссто громко смеяться. Глебу показалось, что над ним. Но это ничего! Все проходит. И этому Смоленску с вековой историей его осталось несколько еще минут жить в Глебе — чтобы опять кануть в небытие.

Два следующих дня прожил он в странном состоянии — смесь грусти, одиночества, недоумения. Точно другая стала эта Лера, которую одной, прохладной и разумной стороной своей он ясно видел, понимал, даже несколько свысока улыбался на нее, но другой его части так была она и мила. Между тем — отходила. Сомневаться нельзя. Едва вежливость соблюдала, да и то не всегда. Раз, когда он вошел в комнату, пощелкивая за спиной пальцами, резко сказала: «Перестаньте, пожалуйста, вы мне на нервы действуете». Это, конечно, правда. Нервы у ней в неважном виде.

Глеб решил теперь твердо: он стал ей почти неприятен. Может быть, надо бы выяснить, договориться? Но на это уж мало он был способен. С детства рос в безотчетной уверенности, что его вообще надо любить. И совсем не привык переносить нелюбовь, хлопотать о любви. Никакого «выяснения отношений» не произошло.

В теплый летний вечер, выдавшийся необыкновенною тишиной, райской безоблачностью и миром, вихлястый парень подал к подъезду все ту же немудрящую пару. Поликсена Ильинична, Лера и Митя провожали Глеба. Расставание прошло правильно. Глеб почтительно благодарил Поликсену Ильиничну, Лера вежливо ему улыбнулась и лесная полянка Астрагани с деревянным домом и мезанином, с нсвым садом знатока римского права навсегда осталась позади. Парень вез его по шоссе в прозрачном вечере. В Астрагани этим же вечером, в сумерках, Лера на-

игрывала на пианино Шопена. Позже, у себя наверху, тихо плакала.

Глеб на станции Духовской вновь взял билет первого класса, теперь до Москвы. И в назначенный час вновь такой же поезд катил его по знаменитым местам России. Он опять стаял у окна. Закат пышно, торжественно-золотоносно разметался, торжественный хорал в небе звучал и в самом этом исполнении было уже умирание — золото переходило в пурпур, пурпур гас понемногу, малиновел. Отойти от окна Глеб никак уж не мог. Во всем нем была такая взволнованность, такой сладкий и мучительный полет...

В вагоне стемнело. Он сел в купе, прислонился головой к дивану, сидел, полузадремал. Постукивание колес, мерный их ритм будто дирижерская палочка ведет разыгрывающуюся в нем пьесу. Может быть, музыка эта не звуков — слов?

Он опять вышел в коридор. Звезды стояли на небе, леса медленно проходили. Вот река, дуга. По лугам туман. Поезд прибавляет ходу — под уклон. Звезды так же важны, но теперь вдруг туманы сливаются в грохоте поезда с тем остро-сладостным и пронзительным, что в самом Глебе... да, да, вот так, это и есть слова — они летят, как никогда не летели в нем раньше, он их не произносит, но он чувствует их ритм — этим нервным потоком и изобразит ночь, одиночество, полет под звездами, среди туманов неизвестной никому реки, несущейся и проносимой. О, это, наконец, не детское, вот это настоящее...

Глеб был один — и счастлив. Звезды его видели. Господь благословлял.

Река, туманы, все давно сзади. Он стоял, смо-

трел, в тихом шлоуумии. Знал, но словами бы не мог сказать о самом главном, с ним случившемся в июньский вечер у окна вагона.

**
*

Он вернулся домой покойный: по крайней мере таким казался. Но ни мать, ни отец, ни Лиза не могли знать, что вернулся иным. Он об этом никому не сказал, да и не надо было. Просто на другой же день сел у себя в комнате к письменному столу, чуть не в один присест написал то, что и надлежало написать. Это было то нсвое, чего долго он ждал, долго и упорно добивался, о чем мучился и не знал, придет ли оно и когда. Это была ночь, звезды, туман над рекой, грохот поезда, все в полете лирическом, без конца и начала, обрывок млечного пути души.

VI.

Отец правильно угадал будущее: ему в Москве все-таки не понравилось. При неодобрении матери на второе же лето стал он присматривать себе «мон-репо» — с тем, чтобы бросить службу.

Смотреть имения ездил один, иногда с Глебом. В одну из таких поездок забрались они в глушь Тульской губернии, от станции далековато. Ехали, ехали — Глебу казалось, после ночи в вагоне — Бог знает куда заехали: поля и лесочки, опять поля, деревеньки... Все что-то среднее, отчасти и миловидное, но ненарядное.

Хутор помещика Кноррера стоял на юру, в поле. Мслодой фруктовый сад вокруг, — хозяин тоже молодой, чернобровый, в рейтузах и дворянской фуражке, вокруг гончие, в домике беспорядок. Ружья, рога и табак суть основа жилья этого.

Кноррер ждал их. Весело сел в дрожки, повез осматривать Прошину. «Значит, соседями будем? Вы тоже охотник? Ну, да охота у нас неважнецкая. Зайчишки, а по перу совсем плохо».

Пока к этому Прошину ехали, налетел дождь, светлый, скорый, блеснул сквозь солнце каплями летящими, да и умчался, все славно осеребрил, примял пыль на дороге. Ржи вдвое заблагоухали, так и хо-

дили серозелеными волнами вокруг кнссреровских
дрожек, тарантаса отца.

Мысок роши завиднелся из-за бугра, верхушки
берез — Прошино. Ну, как скудно! Косогор какой-
то, там ниже, по склону, очевидно усадьба.

Миновали березы по канавке, проехали мимо
флигеля, под уклон — влево к дому, довольно скром-
ному: одноэтажный, обшит красноватым тесом. У
подъезда ждал немолодой человек, типа управляю-
щего. Сняв картуз, обнаружил лысину, почтительно
поклонился.

В доме все ветхое, давно не жили. Мебели мало.
Слегка затхло и сыровато, и грустно. Распахнули
стеклянную дверь на балкон — полуживой, периль-
ца штатучие, половицы чуть держатся, но навстречу
кинулся такой куст жасмина цветущего, в такой рос-
коши бело-золотистого оперения, в каплях сияющих,
светоносных, в таком благосвонии — голова кружит-
ся. «Это именище давно без хозяина», сказал Кнор-
рер. «Видите, как все заросло».

Заросло фантастически! Пред балконом лужай-
ка — запущенный луг. На него затесались даже по-
беги соседних топелей. Все спутано, но все цветет,
благоухает, сияет в искрах под солнцем, все радость
и хвала Божия.

Штатучью лесенкой спустились вниз, лужайку
пересекли, мимо старых лип. Пруд тоже очарован-
ный, дымно-зеркальный, с водяными комариками по-
ртути вод, с мелкими всплесками рыбешек. Там ниже
яблоневый сад, еще прудок, все задичавшее, все в
тишине и сиянии после дождя. Отец посмотрел на
Глеба. «Ну, нравится?» Глеб был взволнован. Вот

тебе и убогий косогор! Глухо он ответил: «Очень». «Да, братец ты мой, мне тоже!»

Осмотревши усадьбу вернулись. Жена управляющего накрывала уже во флигеле — лысый Иннихов припас водочки. И яичница на сковороде, щи, престарелый петух — все в сопровождении национальной нашей славы: «чи-ик! По единой, ваше здорovie!» — все развивалось естественно, при жужжании мух, нежном веянии июньском из окна.

Водочка благотворно действует и на отца и на Кноррера. Начинаются охотничьи рассказы. Глеб все это знает, все отцовы прибаутки, и веселый его хохот над воображаемым русским немцем, языком его. («Он бегу-иль, я стрелу-иль — с дробами!» и т. п.). Известна и ближайшая программа: отец начнет называть Кноррера «кумом», потом ляжет вздремнуть, потом пойдут межю осматривать, сверять землю с планом.

Глеб под шумок вышел. Около людской, налево, Иннихов разговаривал с двумя тощими типами — длинные палки у них в руках, за спиною котомки. Запыленные лапти, спутанные бороденки, рубахи в заплатках. Нечто смиренно-покорное и усталое.

Вот отошли они, сели на лавочку, вынули по ломтю хлеба, стали жевать. Медленно, как бы с вековой утомленностью. «Ктс это?» спросил Глеб Иннихова. «А так, барин, мордва... Работки нет ли, спрашивают. Мордviны, значит. Издадеча. На работку набиваются. Да нам не для ча. Ежели папаша купят, хозяйство заведут, а у нас тут делов никаких нет, только с супругой караулим усадьбу». Глеб вздохнул, почему-то взглянул в небс. Иннихов на него посмотрел — взором этих сараев, людских, конюшен. «Именьице, если

в порядок привести, золотое дно. Пусть папаша решаются».

Глеб опять пошел мимо дома, жасмина, двух прудов вниз по склону сада — вдовь любовался и волновался сказочным оцепенением краев этих. Солнце обсушило теперь влагу. Тропинкой чрез кусты акаций — изгородь фруктового сада — спустился к речке. Сладко, мучительно-нежно пахло пригретою луговой травой. Тут же песочек прибрежный, поблескивающая вода, легенькая трясогузка... — все это уж он знал, в этом рос с младенчества и не было все же конца очарованию простодушной речки с лозняком полуплывущим в ней, медленно вьющимися, по теченью, бархатно-зеленеющими подводными травами, скользящими как угри, со стайкою мелких гольцов под золотой рябью солнца. Да будет благословенно имя Господне!

На той стороне прошел рощей березовой — всегдашняя девическая чистота! — поднялся в поле. Отсюда Прошино казалось зелено-кудрявой чашей. Далекий вид открылся на поля в блеске солнца, на взгорья, леса. Прямо внизу, но в другой стороне серела деревянная колокольня. Это Поповка, село и ближайшая церковь, он вспомнил, что видел ее, когда псдъезжали.

Глеб сел на меже, у опушки, в тени берез, нежно за ним струившихся. Ему нравилось, что вот это его страна, его солнце, небо, свет, воздух, все такое, о чем может он и должен сказать. Волнение продолжалось. Да, это поэтическое волнение. Пусть Инников рассуждает о коровах. Он, Глеб, для другого. Так было, так будет.

Внизу, слева, меж серозеленых ржей появились

на тропке две фигуры. Медленно они подвигались. Рыжеватые бороденки, в руках длинные палки, за плечами котомки. Ржи точно пред ними раздвигались. Потом вновь смыкались, в серебристых волнах. Глебу нравилось смотреть на мордвинов этих, мирно среди ржей шагавших, с ними будто сливавшихся. Милая Россия, тихая, смиренная! Он полузакрыв глаза. А может, они ржами и порождены? Вон шагают, и все дальше, ржи все загребают, все их поглощают. Из ржей вышли и во ржах потонут.

Он вернулся возбужденный, острый, точно наполненный. Отец кончил уж осмотр хозяйства. Говорил теперь с Кноррером. «Ну, покупаем?» сказал Глебу вполголоса, садясь в тарантас. «Покупаем, конечно».

**
*

Посевы, пахота, работники, поденные, покос, уборка, целый круговорот земли, с хлопотами и заботами, волнением от заходящей тучи, огорчением когда нет дождя, боязнью ранних холодов весенних, для садов опасных — все это жизнь деревни. Отец бросил Москву. Ездил теперь по полям тульским на дрожках, сердился на Иннихова, выставлял водку косарям, учил кучерсв объезжать молодую лошадь — занятие занятное. Мать ведала цветником, огородом, амбарами. Во все это Глеб вклинивался довольно-таки инородно. Из Москвы приезжал в Прошино и зимой, летом же подолгу жил, у себя во флителе. Жил и жил, был еще один, и часто ему казалось, что вот в Прошине этак хоть и милая усадьба, пруды, сад, а все-таки скучно. Благодати же этого жития де-

ревенского, напоющей силы России, приволья ее и свободы еще не понимал, не ценил — в этом с Устасем рос. «Так и надо». Другого не знал.

Землю, поля, мужиков принимал родственно, душою и поэтически, но с огромного расстояния. Да, родина. Но насколько иной мир, хоть и отделенный всего огородам. Времена Савссек, Маосток, детской общительности отошли. Владимир Соловьев, греческая скульптура, переписка Флобера. Мужики, бабы, девки — в чем-то родные и милое, но и далекое. Он их стеснялся. Частью — даже робел. Станный он в их глазах, «чудной».

Все-таки, на покос иногда выходил. Навивал с девками воза сена, хохотал с ними, валялся на копнах, беглые поцелуи прсносились легко да и незаметно, среди вечных шалостей, возбуждения, подъема и радости русского покоса. Кареглазая Паша, крушная и свежая, вся благоволение и сила полей наших, ему даже нравилась. Раза два сн ее провожал на заре до риг, там среди ржей дружелюбно они целовались. Но все это скользило, летело, оставляя след лишь мгновенный.

Настоящее, чем он жил, было внутреннее — шисание, искание. Он много работал у себя во флигеле. Днем сам писал, ночью читал. До рассвета иной раз горела у него лампа и его можно было принять за чернокнижника. Но скорее он был белокнижник. Соловьев проводил по высотам — Бог, человек, мировая душа, ход Вселенной. Уже не Глеб простодушной Калуги, о. Парфения, подходил к вечным тайнам, а молодой писатель начинавшейся новой эпохи русской. Голосу русской души и поэзии надлежало издать свой звук, отличный от прежнего. Но и самый

душе надлежало определиться. Это не сразу давалось. Бог, Вечность, бессмертие мучили. Соловьев раздвигал нечто, стройный и величавый, многоводный и гармонический. Глеб уходил в него с возбуждением, страстью молодости. Мир и его движение восхищали. Все же надо было на чем-то остансвить-ся, иметь и свой взгляд. Он колебался, нередко томился, изнемогал. Но река уносила его, светлая и многоводная, все дальше и дальше от безысходности отрочества.

Против такой жизни Глеба мать ничего не имела. Правда, слишком он много с книгами, но такой уж был с детства, Herr Professor. А теперь, раз литературой занялся, так еще и понятнее. С родителями мил, как всегда замкнут и несколько отдален, но уж это его характер. И свою роль мать понимала так, чтобы к полудню, когда сыночка соблаговолит встать, кофе ему на балконе подали бы горячее, и со сливками, и по возможности оттянуть обед, чтобы к цыплятам он успел проголодаться. Чтобы к обеду, ужину было то, что он любит. Чтоб во флигеле у него был порядок, чтоб его верхового конька не брали на работу.

На второе лето, однако, многое изменилось. По внешности будто и то же: Глеб перешел на следующий курс, приехал в той же студенческой тужурке и фуражке с голубым околышем, был такой же худощавый и остроугольный, но такой да и не такой.

Как и в прошлом году мать до трех, четырех часов видела наискосок, со своей постели через садик свет в окне флигеля: Глеб занимается. Косари, мерно потыкивая косами, побрякивая брусками, проходили по утренней росе в Салтыково, а он раство-

рял окно, смотрел на любимую свою яблсню аркад через дорогу, на ракиту, под которою любил сидеть. Все это и раньше было. Но теперь стал он нервнее и порывистей, еще замкнутей, иногда вдруг раздражался или впадал в возбуждение, много писал, потом рвал. Ждал писем, много сам отправлял их. Видимо, падал духом, когда чего-то не получал. Усвоил привычку забирать ружье, уходить в лес. Нравилось переходить через Апрань, забираться в осинник по взгорью, сидеть, лежать там, воображая себя лейтенантом Главном гамсунова «Пана», слушать — в воображении — «первую железную ночь, вторую железную ночь», наблюдать ход сблаков, полет ястребов — их иногда он и стрелял. А потом вдруг мучительно в Прошине становилось скучно. Глеб впадал в уныние и замолкал. Лунатически вокруг комнаты не ходил, но к обеду являлся хмурый, точно в туче.

«Что это с ним такое?» спрашивал отец у матери, потягивая пиво. «Обиделся на что-нибудь?» «Ничего не обиделся, просто такое расположение духа». Отец качал головой. «Книжные люди... книжные люди. Он бы что-нибудь полезное сделал, за уборкой бы понаблюдал». Тогда мать, недовольно: «За уборкой может и твой Иннихов понаблюдать». «Иннихов такой же мой, как и твой. Да я и всегда думал, что он болван. Так и оказалось». «А если болван, так зачем же ты его держишь?»

Отец отмахивался с таким видом, что спорить все равно нечего. И подперев рукой голову, поникал над очередным стаканом пива, после которого, вместо того, чтобы ссориться с матерью, самое разумное просто отправиться на боковую: что он и делал.

На следующий день Глеб выходил как всегда к кофе на балкон около двенадцати. Отец давно все отшил, что следует. Но сидит за столом, читает. Когда Глеб появляется, то закладывает страничку спичкой, чтобы не забыть, где остановился: память стала плохая.

Глеб, по привычке детства, целует его в лоб. «Что поднялся спозаранку, ангел?» говорит отец. «Или спал плохо?» Глеб хмур. «Нет, ничего. Я ведь поздно ложусь». «Знаю, знаю. И не одобряю. Вредно для здоровья. Отказать».

Глеб молча наливает себе кофе. Жарко. Балкон этот хоть и крытый и выходит на север, а и на нем душно.

— Читаю, брат, Щедрина. Вот это писатель! Не то что твой Андрей Белый.

Глеб тянется, чтобы отрезать хлеба и задевает рукавом спичку в книге.

— Э-э, нет, братец ты мой, ты мне закладку не сдвигай, а то придется с начала читать, забуду где остановился.

— А я нынче в Москву собираюсь, — неожиданно говорит Глеб.

Отец поправляет закладку, успокаивается. Из того же кожаного портсигара, что еще в Устах носил, вынимает новую папироску.

— По что едешь?

— Так... надо. По делам.

Отец закуривает. По делам! В самый покос и вдруг такие дела. Каждая лошадь, каждый человек на счету, а ему в Москву...

Из-за берез над ригами выезжают два воза с се-

ном, медленно двигаются к сараям. Отец встает, грузно прислоняется к перилам. Малый, ведущий за недоуздок переднюю лошадь, останавливается перед сараем. «Из Салтыкова сено?» кричит отец. «Из Салтыкова». «Ты куда же его прешь?» «Инников в этот сарай велел»... «А я твоему Инникову ноги подыдерживаю.. матери его чорт! Что же вы мне его сгноить, что ли, собираетесь? Из Салтыкова! Сейчас же разваливай, здесь, и пускай девки растрясут.. сырое сено в сарай!» Отец вовсе расстроен. Хотел бы сочувствия сына — сырое сено в сарай! — но тот равнодушен. Чепуха все эти покосы, копны и растряски. Отец оборачивается к Глебу. «Вст лучше бы посмотрел, как они его растрясут, или сам бы помог». Глеб невозмутимо пьет кофе с ледяным маслом. Никуда он не пойдет кроме флигеля. Все будет как всегда. Отец покипятится, прогорит и опять возьмется за Щедрина. А Глеб во флигель отправится, дочитывать о милетской скульптуре. В затянутые от мух сетками окна чуть-чуть будет тянуть ветерок. Душно! А за обедом опять цыплята, опять отец будет ворчать, опять жара. Что делает теперь в Москве Элли? Ах, все эти истории с разводом, как тягостно! Глеб ест цыпленка и отсутствует. Мать покойна. Почему отсутствует? Можно себя утешать тем, что ведь он Глеб, Herr Professor, со странностями. Беспокойство же остается. Что он в Москву едет, она уже знает. По литературным делам... по одним ли литературным?.. Да, но во всяком случае, если он едет, то должен ехать с удобством. «Никак чтобы к вечеру коляску готовил, тройкой». Девушка Поля почтительно слушает. (Глеба в столовой уже нет).

«Трськой в коляске?» Отец подымает голову, полусонно, от своего пива. «В самый покос!» Поля уходит. «Не на палочке же верхом ему ехать». Отец качает головой и впадает в безнадежность

Термометр показывает 27 в тени, по Реомюру. Собаки лежат на боку, высунув языки. Во флигеле Глеба жарко. Забрав мохнатую простыню он идет купаться мимо двух свских прудов вниз на Абрань. Жара и блаженный дух пригретой травы и песочка, и трясогозочки, и прохладная тьма — зеркало воды, куда радостно погрузить изомлевшее тело, все как в детстве, все что в природе, стихии — вечность, и сам он, конечно, вечность, но течет и меняется и в зеркальные струи сейчас не тот Глеб входит, как некогда в воды Жиздры. Неужели все так же нервничает Элли, мучится из-за развода и мужа? Непременно надо ее повидать. А в Москве ли она? Может быть, укатила уж в Углич этот или под Новгород, всюду у ней друзья, тетки какие-то, и что в голову ни придет, то она вмиг и сделает. Да, не станет раздумывать.

Пока Глеб купается, за Прспиным вырастает туча. Ах, скорей! Надо спешить. Он одевается освеженный и бодрый. Пора, пора! Через сад, с полотенцем на плече. Только успел добежать, трахнуло, разсрвалось и ударили первые капли. А потом двинуло. Понесло белою дождевою стеной, дымящейся и шуршащей. Отец на крытом своем балконе, после дневного сна, оказался стрезанным. Сено, по его приказу утром пред сараями разваленное, так и не собрали, так и не успели. «Ах, анафемские души!..» Дождь молотит по рядам как хочет, и как хочет по толевой крыше балкона, кое-где протекающей. Отец, чтобы не намочнуть, должен придвинуть стол к са-

мой стене и туда прижаться. Ну, да такой ливень и вообще забивает полбалкона.



В вечерний час, после дождя, во влажном благоухании гречих и ржей при фантастически-громоздких облаках, раскинувшихся над закатом, при первой звездочке на севере Глеб трогается на станцию. Беззвучно плывет луна над ржами, шлепают копыта, мерно поколыхивается коляска.

Мир деревенский, простой, земледельческий проходит полу-призраком, милым, привычным — близким и дальним. Вот он вокруг в угасающем сиянии зари, все эти поля, риги, сажалки и деревушки с первым огнем в избе, детишками на улице, блеянием овец, мычанием коровы: все свое, а от него бежит он, чрез огни станции и небыстрый бег поезда к столице, новому и живому для него.

Уехала ли уже Элли в Углич? Как она? Нет, без нее невозможно.

И пока кучер шажком возвращается домой, Глеб катит в Москву, навстречу жизни своей и молодости и того, в чем захлебывается человек и без чего жить не может. Сколько бы ни ворчал отец, поражаясь странностям «городских» людей, как бы мать ни вздыхала, подозревая где-то вблизи «авантюрьерку», чаша предложена и не старости отклонить ее. Глеб съездит в Москву, повидает Элли в квартирке ее на Кисловке, где все — легкий и быстрый, шумно-изящный беспорядок, как и сама хозяйка с вечно развивающимися локонами волос. Побегает с нею по бульварам, проводит на дачу к какой-нибудь тете Лотте,

пояснит, сколь нужно отношения. Узнает, как дела по разводу, какое кольцо закладывает она, как с осени думает снять квартиру и сдавать в ней комнаты, а впрочем, возможно, уедет еще к подруге под Новгород. А может... — в остролицой голове с большим опоясывающим ртом, нервными зеленоватыми только, что отца и мать ждут там новые неожиданности, от которых идет тепло и свет и слабый запах духов, все возможно: смех, радость, отчаяние — ничего неизвестно заранее, все Божий дар, щедрость, стихия, мечущая направо, налево. Корень глубоко-русский, прививка Италии и Германии, родительский дом у Ильи Пророка на Земляном валу, раннее и неудачное замужество, бегство и после богатого круга богемы, где впервые некто Сандро дал прочесть Гамсуна. И Художественный театр, Чехов, Ибсен. «Когда мы мертвые пробуждаемся» (в полупустом зале Элли, в огромной своей черной шляпе, синем суконном платье в талию, иступленно хлопает пьесе). Люди серьезные могут считать ее истеричкой. Люди богемы любят. Такова Елена Москвы, Элли из дома Ильи Пророка, путница, встреченная на перепутье. И если Глеб вновь уезжает в деревню, это значит только, что отца и мать ждут там новые неожиданности.

Заявляется, например: необходимо съездить в Петербург и Финляндию. Отец покряхтывает. «Тебе что же, денег с собою надо?» «Нет, благодарю. Деньги есть, я аванс взял в журнале». И опять загадочное молчание. Если что и удастся узнать, это — что надо повидать водопад Иматру. «Необходимы», думает отец, попивая пиво. «Без Иматры не обойтись. Никак без Иматры не проживешь». Но если попросит ост-

рить и задевать Глеба пред матерью, отпор тотчас же возникает. «Не понимаю, что же тут странного. Не сидеть же сыночке вечно с тобой и мною. Ему впечатления нужны, чтобы писать». И пред сыночкиным отъездом, обнимая его, мать сует ему полноразмерную Екатерину с тоненькой подписью (под Кредитной канцелярией): «Э. Плеске». Глеб будто и отбояривается, потом все же берет. Что-то Екатерина да значит, в пути невредно.

И вот он далеко, в том Петербурге, где некогда мать слушала Сеченова, читала стихи Некрасова, где отец был худеньким, тихим студентом Горного Института — счастливые дни Васильевского острова, маленькой квартирki, дружнй и любовной жизни. А теперь от Глеба иногда открытка: купол Исаакия, белая пена водопада среди лесов. С кем он? Что делает? О, не один, в этом она уверена. Эта жизнь, это закон.

Но осенью, наблюдая, как ссыпают в амбар зерно из-под веялки, не об одном Глебе думает мать. Лиза выходит замуж — конец длинной истории. Артюша кончает Университет, с осени врач. Тоже новая жизнь. Разумеется, к этому давно шло, возражать не приходится, все-таки, все-таки... хотелось не так. Не таксго мужа. Какого? Может быть, всякий бы не понравился, но «другого» она не знает, а уж Артюша со своими усами хохлацкими, словечками и дубинкой, нежинской тюрьмой... «Будет где-нибудь земским врачом в дыре, вст Лизе и Консерватория, Бетховены». Правда, что Лиза слабенькая, трудно ей в Консерватории — все-таки...

Так проходила для нее эта осень, одна из мно-

гих осеней осенней ее жизни — в прсхладных, серебристых тонах сентября.

Глеб же в Прошино не вернулся, прямо проехал в Москву, писал редко, таился там, жил жизнью матери неизвестной. Ну, если бы еще это была та, «судейская девушка», из хорсшей семьи. Но о Лере давно и помину не было, да и отца ее, кажется, перевели в Петербург. Нет, из поездки под Смоленск ничего не вышло.

Чувствовал Глеб родителей или не чувствовал, понимал или не понимал, но ^боднажды пред Рождеством в Прошине получили телеграмму: «Будем четверг». Отец отнесся философически: лошади свободны, Глеба он всегда рад видеть. «Наверно из товарищей кто-нибудь с ним». Мать промолчала. Приказала Поле приготовить молодому барину во флигеле, а товарищу его рядом в комнате. Да как следует прстопить.

Утром, когда отец встал, морозило. Солнце огненно-красным диском вспозало за липами. Отец пил чай в столовсй, глядел на запушенный снегом сад.

— Доху-то ангелу выслали ль? — спросил у матери, когда та вышла к самовару.

— Ах да, ну конечно...

Странно такие вещи и спрашивать. Но отцу хочется поговорить. «И валенки?» «И валенки». «А тулуп товарищу его?» Мать вздохнула, сдержалась. «И тулуп». Отец успокоился, стал соображать, когда они могут приехать. Выходило, около десяти. И свой чай, перемежающийся с папиросами, он тянул медленно: одновременно читал «Пикквикский клуб» и време-

нами хохотал так, что глаза наливались слезами. Он их вытирал платком и продолжал.

В одиннадцатом у подъезда раздался скрип са-ней. Поля выскочила через сенца в «фонарь», хлопнула дверь. Послышались голоса, глухой шум. По-немногу он приближался, наконец, отворилась дверь в теплую прихожую. Глебова доха вперед ввалилась, за ней черный тулуп с поднятым воротником. В дохе кто-то барахтался и хохотал, высвобождаясь из-под платка, которым была повязана голова в шапочке. «Нет не замерзла... ух, сейчас упаду, не привыкла в таких шубах...» и доха опустилась на сундук. «Глеб, снимайте с меня валенки, я как чурбан, сама ничего не могу»... Черный рсмановский тулуп легко соскочил Поле на руки. Под ним оказался Глеб в обычном студенческом пальто, с намерзлым лицом, но живой и улыбающийся. Он, слегка смущаясь, стал снимать с дохи на сундуке валенки — из них выглянули длинные, тонкие ножки в легеньких чулках. Теплый платок на голове тоже размотался — обнаружил острое, веселое женское лицо, кой-где в веснушках, все сиявшее смехом, светом, со спутанными легкими волосами на голове. Глеб обнял стоявшую в дверях мать.

— Мама, вот позволь тебя познакомить с Еленой Геннадиевной... Я хотел, чтобы она немного отдохнула у нас.

Элли поднялась с сундука, оказалась статной, с гибкой талией молодой дамой. Улыбаясь, протянула матери руку. «Очень рада... ах, мы так чудесно ехали, вы и представить себе не можете... ну, замечательно! Мсроз, сани в раскат, воздух... роскошь какая!»

Мать поздоровалась с ней вежливо, но сдержанно. Отец смотрел с любопытством.

— Вам наверно надо умыться, привести себя с дороги в порядок, — сказала мать, глядя, как она поправляет свои локоны.

— Да, благодарю вас, если можно.

Мать провела ее в свою скромную комнатку. Элли смеялась, возбужденно рассказывала, как они ехали на лошадях и на каждом слове прибавляла: «Чудно! это было чудно!» Мать была покойна. Вынимая из комода чистое полотенце, показывая где мылс, все время ее рассматривала. Нет, это не «гусыня» Гаврикова переулка, и не Лера. Это, разумеется, «она».

— Комната ваша будет рядом с моею. Иногда Глеб в ней живет, когда очень сильные мятели и ему неудобно идти во флигель.

Она отворила дверь в небольшой кабинет. Над турецким диваном висели рога, на них ружье, патронташ. Стену завешивал ковер, довольно пестрый. Медвежья шкура на полу. Окно, перед которым стоял стол, выходило в сад, на балкон. Там снежный мир, от него беловатый блеск по всей комнате, светлый отблеск на изразцах печи голландской, дышавшей глянецом, теплом.

— Ну, какая прелесть! Зима, тишина! Я так рада, что сюда приехала. Благодарю вас!

И Элли вдруг обняла мать, горячо ее поцеловала.

— Я и уверена была, что у вас тут все прекрасно.

Мать слегка улыбнулась.

— У нас самый обыкновенный дом.

— А мне ужасно нравится.

— Ну, тем и лучше.

Элли стала вынимать нужное из саквояжа, раскладывать туалетные вещицы. Глеб принес чемодан.

— И мы ждем вас кофе пить, — сказала мать, уходя.

Элли занялась мелкими женскими делами, водворяя в эту мужскую комнату с запахом охоты и медвежьей шкуры свой мир: все ее воротнички и кофточки, платья, гребенки, духи мигом столпились в оживленный беспорядок, будто бы и бестолковый, но живой, благоуханный.

Так начался для Элли новый день нового бытия. Она ехала сюда с некоторым опасением: кто она? что? почему? Собственно, Глеб ее пригласил. Ни она родителей, ни родители ее вовсе не знают. Но сегодня, с утра, она правда была в подъеме, хотелось бегать, петь, всех обнять и поцеловать.

Она вышла в элегантном синем платье в талию, с материнской камеей из Неаполя на шее — очень строгая и изящная. Только локоны плохо поддавались: слишком мягки и нежны. На шнулке висел черепаховый лорнет с мелкой золотой инкрустацией по ручке.

За кофе Элли восхищалась горячими ржаными лепешками, ледяным маслом, сливками. Ела охотно. Глебу нравилось, что вот она здесь, в его родном доме, такая особенная, изящная, ни на кого непохожая. Как всегда, он считался только с собой: если ему нравится, должна и всем нравиться. Если же им не понравится, тем для них хуже. Поэтому он ничего не замечал и не хотел замечать.

— Ну, какая прелесть ваша Лиза, прямо чудо. —

Элли снова обращалась к матери. — Глеб Николаевич нас не так давно познакомил, но мы уже на ты. Нет, она чудная! Мы вместе вчера ходили по магазинам, кое что ей выбирать к свадьбе. Артюша тоже... нет, он не ходил, но он тоже очень славный. Я его, впрочем, и раньше знала. Еще во время студенческих всланий. Он ко мне заходил. Мне иногда удавалось устраивать заключенным передачи, он и просил помочь. А потом он и сам, ведь, попался. Да, мне Лиза рассказывала, как она к нему в Нежин ездила... ведь вст подумайте, такая маленькая, будто бы и слабенькая...

Мать сидела за самоваром молчаливо. Лицо ее было замкнуто, холодновато. К ней подошла Пся, что-то вполголоса спросила. Мать ответила почти сурово: «Нет, не во флигеле. Барину там, а барыне здесь. В кабинете ей постелишь».

Отец все присматривался к лорнету Элли, — разговаривая, она нервно его вертела. Раза два вскинула к глазам.

— Вы плохо видите? — спросил отец.

— Нет, ничего. А это у меня привычка такая... мне лорнет нравится. Вот так возьму да и погляжу.

Она засмеялась; опять подняла лорнет, ласково посмотрела сквозь него на отца.

— Вам не нравится? Вы находите, это это глупо? А по моему, он такой славный.

И, опустив лорнет, погладила его ручку.

— Мне иногда кажется, что предметы тоже живые, тоже вроде людей, думают, чувствуют. Этот лорнет мне друг. Я его люблю и он тоже... он знает, когда я счастлива, когда несчастна. И сочувствует мне. Потом у меня еще есть любимая шкатулочка, с разными

вещицами. Там образок один, старушка подарила: Николай Чудотворец.

— А вы серьги любите? — спросил отец.

— Люблю.

— И брошки?

— И брошки.

Отец покачал головой.

— Бесполезные вещи. Бесполезные вещи.

Он не одобрял все это, но считал, что женщины так уж устроены, что вот занимаются разными глупостями. Ничего не поделаешь.

Глеб улыбнулся.

— А сам ты предпочитаешь, чтобы женщины хорошо одевались.

— Ну да, хорошо, значит удобно. А это ненужные вещи. Это все пережиток дикости. Перья в волосы, амулеты на шею. А то можно еще серьгу в нос, знаете, как у папуасов...

Элли захохотала.

— Нет, серьгу в нос себе не собираюсь, но полезного не люблю. По моему, даже самое лучшее — бесполезное. Вот, прекрасный вид, музыка, стихи...

«Неосновательные люди», про себя решил отец. «Городские, книжные, жизни не знают».

А неосновательные люди допили свой кофе.

— Пойдемте посмотреть мой флигель, — сказал Глеб. — А потом на лыжах пройдемся. Хстите?

— Ах, чудно!

Отец пустил длинный клуб дыма.

— Только вы лорнета своего не позабудьте! Рассмотрите в него хорошенько, нет ли заячьих следов. Мне потом расскажете.

— Ах-а-хаа... Элли веселилась. — В лорнет зайчи следы! Хорошо, я вам постараюсь самого зайца поймать.

**
*

На лыжах Элли ходила неважно, но это ее не стесняло. За ригами смело полезла она в овраг салтыковской рощи, весь в тихом ином дубов, блеске искр по снегу, в белых мохнатых лапах его, нависающих с ветвей, с кустов. Эти лапы осыпали ее сухим серебром, жегшим щеки. Лыжи разбегались из под длинных ножек, наконец, и вовсе выскльзнули, со смехом села она в сугроб на дне оврага и со смехом Глеб вытаскивал ее из снега, целовал горевшие на морозе щеки. Кто их тут видел? Белочка, стреканувшая по старому дубу вверх, помахивая рыжеватым хвостом — опахалом? Заяц, в ужасе выскочивший из под куста, вознесшийся на другой бок ложбины и потом дальше в поле?

— А лорнет-то ваш цел? Вы еще должны в него зайчи следы рассматривать!

Обедали во втором часу. Была индюшка, отец находился в довольно добром настроении. Глеб и Элли чокнулись с ним водочкой, к которой он прикладывался усердно. На рюмку Элли мать посмотрела внимательно. Держалась отдаленно, сумрачно, как гора в таинственных облаках.

После обеда Глеб возил Элли кататься в небольших санках. Правил сам. Он любил иногда выезжать так в поля, делать небольшой проезд к роще, откуда открывался вид просторный. Сейчас рядом с ним сидела востролицая Элли, обо всем спрашивала,

все ей занято. Это что за деревня? Можно ли тут встретить волка? Как-то смешной мужик проехал в розвальнях!

Было тихо. Торжественно-покойно и прозрачно разливался вечеряющий свет по полям русским, нежно-зеленым стеклянело над снегом небо, иногда впадая в золотистый, у заката алеющий оттенок. На севере преобладал цвет радужной закаленной стали. В этом спокойствии зимы, при тесном как бы тумане, кое где завешивавшем горизонт в лесочках, важно восходил дым над избами, молочно-сиреневыми струями.

На повороте Глеб взял слишком круто, санки наклонились, левый бок приподнялся и они чуть не опрокинулись. Что-то крякнуло. Глеб остановил конька. Вылез из накренившихся санок, где из дырки выглядывало острое личико Элли — вот тебе и раз! — оборвалась плохо подвязанная оглобля. Конек, будто понимая, покорно стоял, дымаясь на морозе, кой где покрывшись седым инеем. Глеб пошарил на дне санок и под сиденьем — нет ли запасной веревки — ничего не оказалось. Солнце близилось к лило-вому леску, краснело и ширилось, гостюясь сесть в морозном тумане — до дому версты три.

Глеб был в некоторой растерянности: что же тут делать? В это время навстречу показался резвый жеребец в легеньких санках. Подкатив, остановился. Кноррер в тулупчике с серым мерлушковым воротником, в белых валенках и ушастой шапке выскочил из них.

— А-а, сосед! Здравствуйте! Что с вами такое?

— Да вот видите, какая история...

Кноррер весело поздоровался, ласково оценил

Элли, раскланялся с ней любезно. По деревенски он был даже изящен, худ, жив, вишневые глаза бойки, щеки морозно-румяны. Короткие усы обледенели.

— Мне нужно оглоблю подвязать... Нет ли у вас бичевочки?

— А, вон оно что... Поглядим, поглядим... да, как следует хряпнуло, не поедете... он рассматривал оглоблю — и какой же это болван запрягал вам? Ведь веревки давно перетерлись, сразу видно!

Все-таки, Глебу с Элли не дано было ночевать в поле. Краснощекий Кноррер вытащил из своих санок кусок бичевки. Глеб сунулся было подвязывать, но он молча его отстранил, крепкой деревенской рукой быстро перевязал ранение, блестя карими глазами обратился к Элли:

— А теперь, сударыня, запахивайтесь получше в доху и пусть вас Глеб Николаевич потихоньку доставляет в Прошино. Николаю Петровичу поклон! В воскресенье заеду.

Он подходил уже к нетерпеливому своему жеребцу.

— Кучеру не забудьте намылить шею! В каком виде выпустил... Всего наилучшего!

И легко вскочив в санки легко покатиł Кноррер, борзятник и соблазнитель девиц. Он был как всегда беззаботен — одно маленькое затруднение занимало его: кто же эта «штучка»? Видимо, из Москвы. Он покачал головой. Тут было и сожаление, и некоторая зависть. Вот, тихоня-писатель, до полуночи с оглоблей бы возился, а какую подцепил фигуру. «Да, это московская. Сейчас видно, московская, хоть и в прошинской дсхе. Вот подцепил!» — Кноррер даже с некоторым раздражением послал лошадь вожжами.

Глеб же и Элли вернулись благополучно. Мир и покой еще вели их — рано было в вечерний час Прошина поражать горем.

Прошли прямо во флигель. В комнате Глеба печь жарко топилась. Гудела сильною тягой; в полуотворенные дверцы видно было трепетавшее, потрескивая, золотого пламени, текучее, струящееся. Отблеск его летал и по ножкам стола письменного, и по дивану. В окнах стоял еще полусвет заката.

Элли прилегла на диване, лицом к печке. Стала тише, задумчивее.

— Я немного устала.

Глеб укрыл ее, сел рядом. Тихо они разговаривали.

— Мы славно катались, отличный день... и этот такой ловкий ваш сосед. И все было очень хорошо. — Она взяла руку Глеба, слегка погладила. — И вы со мной очень милы. А вот мы пришли сюда, тут тепло, печка, мне стало что-то грустно.

— Почему?

— А так, это со мной бывает. Я вот будто такая полоумная, говорят: «веселая, веселая», а когда одна останусь, на меня иной раз такой мрак нападает, прямо... тоска!

Глеб взял ее руку, тихонько поцеловал.

— Вы сейчас не одна.

— Да, слава Богу. У-ух, одна бы я здесь долго не усидела. У вас дом такой серьезный, чинный. Все... в порядке. Мне и мама ваша очень нравится, хотя мы совсем, совсем разные. Но я ей не нравлюсь. Совершенно не нравлюсь. Да и правда, что во мне может нравиться? Ни семьи, ни дома. С мужем в раз-

воде, какое-то неясное мое положение — что я, собственно, из себя представляю?

Она помолчала. Печь звонко стрельнула, золотой звездой выскочил на железный лист уголек.

— Мне все кажется, что моя жизнь удивительно как бессмысленна. Я ничего не знаю, ничего не умею... взбалмошная, пустяковая личность.

Глеб наклонился к ней, прислонив лоб к теплому, душистому ее виску. Знакомые, мягкие и легкие локоны, всегда воздушные, слегка щекотали лицо. Он сказал тихо, почти шепотом:

— Вам дан дар жизни, дар любви. Это большой дар, вы не думайте. Талант любви.

Глеб даже воодушевился.

— Уменье гореть, зажигать, это и надс, это самое главное. В вас светлый огонь, да и сам свет, вы его вокруг распространяете, сами того не видя. Добрый свет — это ваше излучение.

Она слушала, потом приподнялась, близко, в упор стала смотреть в глебовы глаза. В них мелькали золотые точки — отсвет печи. Вдруг она обняла его, горячо и тесно.

— Если ты меня любишь, то я живу, а если нет... Ну, да, да, для меня только и есть любовь.

Она впала в некоторое исступление, дрожала и целовала его. Так бормотали они друг другу нежные слова любви, повторяя вечный путь человеческих существ, отданных друг другу.

Полумесяц означился в хрустально-ледяном небе, проплывая меж звезд и его свет овеял пустыню снегов, излучил таинственное из них сияние, как и из инея, царственно и мохнато одевшего деревья окрест. Лунный свет проник и в комнату флигеля гле-

бова, сквозь стекла в узорах сам лег узором на руки Элли, на ее глаза. В этом лунном свете, перемежавшемся с отблеском печи, Элли плакала счастливыми слезами, мочила ими щеки Глеба и его ресницы. Смелась, потом опять плакала, а потом стала тише и покойнее. В некий момент, откинув слегка назад голову, вдруг глубоко, детски-простодушно и заснула. В лунном свете блестели еще в углах глаз и в ресницах слезинки. Лицо стало особенно бледным и прекрасным. Глеб сидел очень взволнованный, тихий, все смотрел на нее. Над ней висела Микель-Анджелова «Ночь» из гробницы Медичи. Почему Элли изогнула во сне именно так нежную свою руку, подпирая голову, чтобы было удобно? Чрез какую тайную связь крови ее с Италией разлился по лицу отпечаток той-же таинственной печали, что и в Микель-Анджеловом творении? — Глеб не пытался разгадать. Сидел и смотрел. «Да, мы соединены. Да, это уж теперь так, где-то за нашим земным пределом мы соединены навеки. Мы, конечно, умрем, но любовь наша перейдет в вечность».

Элли ровно дышала. Он ее не будил. Но в седьмом часу из большого дома раздался протяжный трубный звук. Это Поля трубила в рог — зов к чаю вечернему. Элли сначала продолжала спать, потом во сне лицо ее приняло тревожное выражение, и как будто отчавив от того, блаженного брега, она вдруг вздохнула и проснулась.

— А? Это что такое?

— Ничего, ничего, — говорил Глеб, целуя ей глаза. — Это просто нас зовут чай пить.

VII

Великая колесница России катилась. Все было попрежнему — города, люди, власти. Император, в день Иова родившийся, так же принимал с докладами министров, так же молчалив был и загадочен: неизвестно как поступит завтра. Одни возвышались, другие падали. Одни наживались, других уносил удар мстителей, по углам таившихся, пулю, бомбу куда надо направлявших. Хитроумные же азиаты еще большее готовили: в вечер Нового года, когда русские, в порте Тихого океана беспечно пировали на своих кораблях, тут-то исподтишка и напали. По всему миру и по всей России прокатился этот звук. Война началась.

С разных вокзалов и по разным дорогам тронулись поезда — на Дальний Восток, все вливаясь перед Азией в гигантский путь через Сибирь. Молодежь и бородачи в серых шинелях, папахах и валенках, офицеры, штабы, лошади, пушки и снаряды медленно, не без сумбура покатали на край света к Океану.

А Россия пребывала в тишине и равнодушии. Были войны и будут. Без беды не обойдешься, а до нас японцам далеко.

В Прощине каждый день читал отец о войне в «Русских Ведомостях», надевая пенснэ, под вечер-

ней лампою в столовой, с каймой зеленою внизу по абажуру: чтобы не резало глаз. Прочитавши вздыхал, складывал газету. «И куда их несет только? И куда, и зачем? Сидели бы дома, да водку пили». Отец терпеть не мог войн, шума, беспорядка. Но вздохнув, принимался за пиво — до следующей газеты.

Лиза, уже замужем, тихо жила под Москвой на фабрике, Артюша служил врачом. Ей вовсе уж было не до войны; она на седьмом месяце, в ней новая жизнь — мальчик ли, девочка? Как все произойдет? Все теперь к этому. Артюша ходит в пальто с барашковым воротником, в мерлушковой шапке, заламывая ее по хохлацки. Усы его так же невозбранно малороссийские, как и во времена Нежина и студенческих волнений. Он покручивал их, подраздумывал и непрочь был бы уехать на войну с Красным Крестом. Но из за Лизы невозможно. Мирно, скучновато ходил в больницу, лечил рабочих, резал нарывы, прописывал аспирин.

Глеб и Элли поселились в переулке у Арбата, в четвертом этаже нового красно-кирпичного дома, довольно просторного и бестолкового. Большая комната с фонарем, выходившим на улицу, открывала вид на переулок и церковь, купола которой как раз рядом. Липы в церковном садике, дальше крыши Москвы, то нехитрое, пестро-миловидное, что и есть Москва приарбатских краев, венчаемая вдали куполом Храма Спасителя.

В комнате этой в одном конце столовая, в другом, за ширмою, элина постель и женский угол, полный тою же шумной, небрежно-изящной хозяйкиной жизнью. Глеб в другой комнате, за корридором. У

него как всегда книжки, письменный стол — пристанище — там в ящичке рукопись, что-нибудь свежее испеченное для журнала или альманаха полудекадентского. Третью же комнату сдают.

Вся квартира светлая, легкая, в ней идет новая, очень на прежнюю непохожая глебова жизнь. Занят ли он войной, дальними краями Манчжурии, Порт-Артуром? Как и все вокруг — очень мало. Разумеется, ужасно, что погибли в новогодний вечер наши корабли. А за тридевять земель наши солдаты сражаются с неведомыми японцами, неизвестно из за чего. Все это страшно и горестно. Но при чем тут он, Глеб, жизнь которого только еще раскрывается? Что ему делать с этой войной, когда рядом есть Элли — с ней живет он как на вулкане, но с незнаемой доселе яркостью, то в восторге, то в плаче и слезах, вновь в примирение и подъем переходящих? Что интересного для него в войне, когда весь он в литературе и надо прочесть Верхарна, Бодлэра, Тютчева, определить для себя, кто он сам — «лирик», «импрессионист» или «мистический реалист»? — и самому писать, и бывать у Александрова, и вести знакомство с разными молодыми литераторами и философами и поэтами. Это ведь и есть жизнь — настоящая. Как непохоже на Калугу! На Москву раннюю, с Гавриковым переулком, Таисией, инженерным училищем...

Для Прошина, матери, отца — Элли одна странность и удивление. Но для Москвы нет. Для Глеба, его и его друзей — нет. Для разных студентов с артистическими наклонностями, для молодого художника Равениуса в крылатке, для босоножки Майи, обитающей в Толстовском с длинноусым портретистом Ко-

синским, для естественника Воленьки, живущего в их же доме и читающего Андрея Белого, все это как раз по мерке. Равно и для того козлорогого Сандро, который просветил Элли Гамсуном. Как и для приятельницы Элли — Люси, жены профессора университетского.

Дружба Элли с этою Люсей была восторженная. Люся носила прямые платья «реформ», как и Элли восхищалась новою литературой, вместе они выезжали в Литературный Клуб, хохотали там, аплодировали кому надо, удивляли, а иногда возмущали честных буржуа. Но для Элли вообще море по колено. Живет она так, какова есть — стихией, любовью. Не задумываясь может отдать последнюю юбку, не размышляя, любит своего Глеба. В солнечный, весенний день Арбата, встречая Люсю, становится на колени — Люся, потряхивая черными кудряшками над тоненьким большеглазым лицом, тоже перед ней на колени, они обнимаются и начинают хохотать. Потом вскакивают, бегут дальше, среди удивленных взоров проходящих. «Непременно ко мне завтра, Воленька будет читать. Это такая прелесть! Воленька ангел». Люся помаргивает темным газельим глазом, где блестит солнце теплой весны. Да, конечно, придет. Но сейчас некогда, надо дальше, к портнихе, в цветочный магазин, нынче у них обед в Неопалимовском, взять еще сыру и вина. И они разбегаются, у каждой свое: у Элли Глеб, у Люси свой роман.

Элли сегодня в добром дне. Ей легко. С Глебом хотя недавно и поссорились, но вчера помирились и оба плакали, просили друг у друга прощения. Потом целовались и заснули счастливые и сейчас пока сча-

стливы. Главное — он ее любит. Это бесспорно. И она его. Остальное неважно.

С этим она заворачивает во двор дома, где живет Коленька, брат Воленьки. В первом этаже коленькина квартира. Дверь прямо со двора, попадаешь не то в комнату, не то в каюту с койкой наверху. Черноволосый и чернобровый хозяин, крупный довольно, с бархатно-сливными глазами, свежий и вымытый, в халате, сидит за письменным столом, курит сигару.

— А-а, Эдди! Каким ветром? По Арбату носишься?

— Коленька, я на минуту. Не забудь, у меня завтра Воленька читает, ты обязан быть.

— Воленька-Воленька! Опять чушь свою какуюнибудь декадентскую?

— Ничего не чушь. Вот увидишь.

— Ну, я вас знаю, вы все там козлороги какие-то...

Он захохотал весело и скорей одобрительно.

— Я вот подрядками занимаюсь, электричество провожу — и все таки не могу пока разбогатеть: видишь, в какой дыре живу! А вы и ничего не делаете, кроме как по Арбату бегаете, а все как-то выворачиваетесь...

— Ты врешь, Глеб работает.

— Ну, да, Глеб... когда ему вздумается. Возьмет и напишет что-нибудь.

— Не что-нибудь, а он настоящий писатель. Понял? Не поденщик.

Коленька тобоятал ногой в красной туфле, выпустил клуб дыма сигарного.

— Ты не кипи, не накаляйся. Я твоего Глеба

не трогаю. Пишет и пишет, его дело. Да он, кажется, и не такой полоумный как ты и остальная компания... Братец-то мой тоже подстать... вашему Андрею Белому. У них как полагается. Чем нелепее, тем, значит, гениальней. А во всяком случае я приду. И вина захвачу. Пусть так и будет: вы начинающие «гейнимы», а я буржуй, тоже начинающий, но буржуй, убежденный. И со временем богат буду.

Элли подтвердила ему, что он буржуй. Но от вина не отказалась.

*
**

Воленька единоутробный брат Коленьки. Оба отца давно умерли: Воленькин профессор, Коленькин интендант. Братья мало похожи друг на друга, как их отцы. Коленька много нарядней, Воленька некрасив, крупен, угловат, с большой головой, детскими голубыми глазами, детским смехом. Он живет с матерью, маленькою старушкой, его обожающей, в том же доме, что Глеб и Элли, в первом этаже. Как и Глеб, он студент, но естественник и постарше, на последнем курсе. Занимается же не только естественными науками, но и философией, мистикой, ходит в церковь (редкость в этом кругу). Некоторые считают его чудаком, мать же любит его больше чем Коленьку, для нее он особенный, на других непохожий. «Володичка мой очень правильный, Богом отмеченный».

Элли недавно с ним познакомилась, сразу же полюбила. Хотя она и не старше его годами, тотчас же ощутила и свое как бы материнство: настоящая мать, разумеется, Клавдия Афанасьевна, но и она,

Элли, в чем-то ему родная, в чем-то и опекающая, матерински заботливая.

В беззаботном кругу богемы скоро они перешли на ты, Элли стала его щитом, покровительницей. Если бы кто решился плохо сказать о Воленьке, он имел бы дело с Элли, а это не шутка.

Воленька увлекался Андреем Белым. Потому и назначила Элли чтение его стихов.

Майский ветерок повевал. Пролетки дребезжали, светлая занавеска на окне колыбалась, солнце вечернее Москвы клонилось ниже. Теплота, золотая пыль в воздухе — из фонаря Элли Люся, потряхивая черными кудряшками, поглядывала вниз в переулок, липами Спасопесковскими обрамленный, поджидала гостей, понемногу собиравшихся в майском дуновении Москвы. Элли рядом с ней. Уже Майя пришла со своим усатым художником, в профиль похожим на волка. Она мрачно ежилась, иногда поводила огромными прозрачными глазами: считала, что она загадочная личность и на ее пути трагедия. Художник присматривался больше к выпивке. Но с прибытием Коленьки дело улучшилось. Он принес огромную бутыль донского. «Елена, от Московской буржуазии. Цени. И не презирай».

Глеб сидел с Воленькой. Вблизи барышни Колмаковы. «Ты пойдешь Бальмонта слушать? Об Оскаре Уайльде? Страшно интересно»...

— Я с вами согласен, — говорил Глеб тоном молодого, но солидного литератора («книжные люди», сказал бы отец): — Белый, конечно, замечательное явление. Когда на него нападают, особенно люди далекие от литературы, я его всегда защищаю. Все-таки, с вашей оценкой не могу согласиться.

Воленька сидел против него большеголовый, неуклюжий, смотрел приветливо небольшими зеленоватыми глазами с нездоровыми под ними одутловатостями.

— А мне все в нем нравится. Вот, смеются: «Завопил низким басом, в небеса запустил ананасом...» — а мне и это нравится. Бессмыслица, а нравится. Потому что это он сам такой, а-ха-ха-ха — Воленька вдруг залился громким, дурашливым смехом. — Сам в небо ананасом залетает и может быть плохо кончит, а вот мне он родной.

Подошла Элли.

— Элли, Элли, ты Андрея Белого любишь?

Элли положила Воленьке обе руки на голову.

— Глеба, конечно, больше, но и его тоже. Он такой же полоумный, как и ты.

Воленька опять захохотал.

— Да ведь и ты сама... того... не из очень крепких.

— Ты мне нынче не нравишься. Желтый какой-то, мешки под глазами.

— А сам не знаю. Голова все болит. В глазах иной раз стрекает. Доктор мне сказал — это от почек. Ну, ничего! Ну, что там почки!

Воленька не унывает. В светлом вечере майском пьет чай с баранкою, подхохатывает козлиным смехом и поджидает, когда все соберутся.

Мимоходом, легко пробегая, целует его в лоб Люся. «Милый Воленька, очень милый!» Но потом шепчет в сторонке Элли: «Воленька прелесть? Ну, ангел! Но мой Курилко лучше». А студент Курилко, тоненький, розовый, с темными усиками, и сам знает, что лучше — томно перемигивается с Люсей.

К Воленьке подседа Майя. Вращая огромными глазами, начинает разговор о вещих снах, видениях. Майя мрачна, у нее вид почти трагический. «И вот я прохожу по подземелью, у меня из-под ног синие змеи, а потом огромная змея, а из ее пасти вылезает мой же собственный ребенок. Я начинаю ему глотать череп и у него такая мягкая кость и мозг такой вкусный...»

Художник с волкообразным профилем и длинными усами присоседился к коленькину донскому.

— Она вам еще не того расскажет, — кричит он через стол, из своего угла: — она еще превратится в собственного отца!

Майя строго на него оборачивается. «Вижу, что уже выпил. Я в отца никогда не превращалась, а что вкус мозга моего младенца и сейчас еще чувствую, это правда».

Воленька козлино и добродушно подхохотывает.

Входят новые гости: сатирический Сандро, с рано облысевшей головой, небольшими острыми и слегка плутоватыми глазами, с ним молодой человек в темном костюме с красным цветком в петлице — в руке у него цилиндр. Сандро здоровается с Элли.

— А-а, вот, позволь тебе представить... — он говорит бойко, почти развязно: — мой земляк, тоже из Ставрополя — поэт Погорелков.

Молодой человек любезно кланяется. От него слегка пахнет дешевыми духами, галстук уж очень пестр, желтые ботинки, голубые носки.

Полуобнимая Погорелкова, Сандро обращается к присутствующим с видом как бы импрессарио.

— Только что из Парижа!

Погорелков скромно, но с достоинством улыбается.

— Да, действительно... прямо с Монпарнасса и Монмартра, из кабачков поэтов, студий художников...

Барышни Колмаковы, слегка повизгивая, обступают его.

— Ах, как интересно...

— У меня есть и личные знакомства: Поль Фор, Жан Мореас. Мы встречались нередко в кафе *Closerie des Lilas* и дружили. В Париже все очень просто.

— Он хороший малый, — говорит Сандро исполголоса Глебу: — я его знаю с детства, в семинарии вместе учились в Ставрополе. А теперь он поэтом заделался. В Париж попал секретарем русского профессора, знаменитого и богатого. Вот теперь только и бредит Верленами да Метерлинками.

Погорелков слегка тает в окружении барышень. Элли приветливо подсаживает его к Воленке. Ему дают чаю. Он не знает, куда поставить цилиндр — Майя надевает его себе на голову. Все хохочут. И цилиндр идет по рукам, водружается, наконец, на зеркальном шкафу.

Подходит Коленка с четвертою бутылю.

— Я угощаю поэта вином, так сказать с Дона, родным напитком... чего там чай! Хочу похвастаться с ним.

Коленка наливает, Погорелков мило улыбается.

— Да, — говорит скромно: — я немало безумствовал в кабачках и клоаках Парижа с лучшими из тамошних поэтов.

— Ну, и здесь поезжайте к Брюсову на Цветной бульвар, там разные переулочки близко, теплые... — кричит из угла длинноусый художник.

— Я уже сделал визиты Бальмонту и Брюсову.

Погорелков чокается с Глебом и говорит, что рад познакомиться с ним — представителем молодого русского искусства. Бутыль Коленьки начинает действовать. Настроение повышается. Погорелков чувствует себя отчасти Полем Формом.

— Я уверен, что новая французская литература благотворительно отразится на молодой русской...

Сандро в это время шепчет Элли:

— Ничего он не француз, такой же семинар ставропольский и остался.

Воленька, наконец, усаживается с книгами к столику у окна. Одной книги название: «Северная Симфония», другой «Третья драматическая». Свет вечера майского падает сзади на Воленьку, золотит худые его виски со впадинами, вся его крупная, костлявая и неуклюжая фигура как-то трогательней в этом нежном обрамлении. Он читает так-себе, скорее неважно, но ведь тут все свои. Свои слушают благожелательно. Люся с Курилкой в углу, что-то уж очень близко друг к другу. Майя прямо на него смотрит раскрытыми, несколько бессмысленными прозрачными глазами. Художник в другом углу прикладывается к Коленьке к донскому. И чрез комнату со страниц пролетают, в туманных созвучиях то кентавры, то гномы, то московские зори, Владимир Соловьев в темной крылатке, красавица Московская с фиалковыми глазами.

Погорелков сидит в кресле довольно важно, по-

качивая слегка ногой в желтой ботинке — в такт лету фраз, как меломан в концерте.

— Чепуха, разумеется, но здорово! — вдруг выкрикивает из угла длинноусый художник. Майя грозно оборачивает к нему неподвижные глаза.

— Как бы ты на меня ни глядела, от этого Андрей Белый не станет толковее.

Коленька с ним чокается.

— Браво, художник.

Элли утихомиривает их. И вот ей — нравится.

— Воленька, прочитай что-нибудь из стихов его.

Воленька отирает платком крупное свое лицо. Берет книгу «Золото в лазури». Погорелков сочувственно кивает головой.

— Я уверен, что если бы это было переведено на французский, то имело бы успех в кругах Closerie des Lilas.

Элли сидит в кресле, оживленная и порозовевшая. У ее ног на медвежьей шкуре Сандро — в руке у него стакан с вином.

— Я как Бахус у твоих ног... а-ха-ха... или, может, Сатир?

Воленька начинает:

«Даль — без конца. Качается лениво,

«Шумит овес.

«И сердце ждет опять нетерпеливо

«Все тех же грез.

«В печали бледной, виннозолотистой,

«Закрывшись тучей,

«И окаймив дугой ее огнистой

«Сребристожгучей —

«Садится солнце красноезолотое...

Погорелков оборачивается к барышням Колмаковым и Глебу.

— Это бесспорно новые формы. Так называемый вольный стих. Его проповедует теперь Верхарн.

«Весны давно никто не ожидает

«И ты — не жди.

«Нет ничего. И ничего не будет

«И ты умрешь.

«Исчезнет мир и Бог его забудет

«Чего ж ты ждешь?

«Огромный шар, склонясь, горит над нивой

«Багрянцем роз.

«Ложится тень. Качается лениво,

«Шумит овес».

Элли задумалась. Потом вдруг подняла на Воленьку глаза. Он смущенно складывает книгу, но в лице его возбуждение, блеск.

— Ну, вот... ну, вот, я кажется зачитал вас?

— Воленька, ты прочитал, что Бог мир забудет. Как же это... сам создал, да и забудет.

Сандро положил голову ей на колени.

— Дитя, ты Белого спрашивай, он писал, а не Воленька. И все равно ничего не узнаешь, он и сам ничего не знает, а так сболтнул, как поэт — а-а-ха-ха-ха!

— Я хочу знать, как Воленька думает.

Зеленоватые глаза Воленьки стали серьезней.

— Что же я думаю? Я мало ли что думаю. Я,

например, думаю, верю — что именно детей есть Царствие Божие. Это даже наверно. А вот ты спрашиваешь, забыл ли Бог мир... — этого быть не может. Нет, это у Белого просто минута, по-моему. Настроение. «Нет ничего и ничего не будет».

Элли встала.

— Как же так нет? Любовь есть. Значит, все уж есть.

Сандро тоже поднялся.

— Да, коли до любви дошло, тут с тобой спорить нечего.

Коленька поднялся из дальнего угла с бокалом

— Если пьют за любовь, то я охотно. Я все жениться собираюсь, но пока неудачно. Но я за любовь и за солидные основы жизни, как семья, например, а не за такую толчею богемы, как у вас.

— Его надо женить! — закричали кругом.

— Зиночка, выходите за Коленьку!

Зиночка Колмакова взвизгнула и захохотала.

— Да он мне и предложения не делал!

Поднялся шум, говор, смех. Коленька вновь вытащил свою бутылку донского, налил всем и не споря все на том объединились, что надобно выпить за любовь. Загадели, закричали, зачокались, а московское солнце, вовсе не столь печальное как у Андрея Белого, в тот майский вечер окропило их из окон теплым и живым золотом — Господним.

И они выпили и даже Майя не сказала ничего ни загадочного, ни людоедского.

Потом просили Погорелкова прочесть свое. Он подзамялся немного. А затем встал, обвел всех взглядом довольно миловидных карих глаз.

— Ну, это после Андрея Белого будет... того! —

шепнул Сандро Элли. — Некоторый самогон в цилиндре, ты понимаешь...

Погорелков провел рукой по темным усикам, отставил немного вперед ногу.

«Как весна я молод
«И как пламя жгуч,
«В моем светлом сердце
«Бьет надежды ключ...»

Далее вполне полагался он на солнце, радость, счастье свое и удачу. Читал бойко и довольно мило.

— Вот напрасно только так надеется на счастье, — сказал Воленька Глебу вполголоса. — С этим надо бы поосторожнее.

Погорелков разгорался. Ему казалось, что он ловит сочувственные взоры Элли, барышень Колмаковых, Майи. Он немного начал уж выступать шантеклером парижским, послом Монпарнасса. Французского столько же в нем было, как в самом Ставрополе и семинарии, его вскормившей. «Погорелков, работайте!» крикнул художник из угла. «Еще, еще, поддай жару!» Он читал охотно.

Ему аплодировали. Он мило улыбался, чокался. Температура подымалась. Хохотали, болтали. Зажгли лампу. Свет ее мешался еще с отсветом голубоватой майской ночи, все неясно, зыблемо, тепло и духовито в беспорядочной комнате с выступающим фонарем на улицу, где Люся с Курилкой разглядывают уже ночные звезды. Лицо Воленьки кажется усталым, под глазами сильней круги.

Элли смотрит на него не совсем покойно. Глеб

хочет налить ему вина, Воленька прикрывает стакан ладонью. Улыбается большим своим ртом.

— Нет, мне нельзя. Доктора не позволяют.

Глеб с докторами мало еще знаком. Ему ничего не запрещают, его стакан полон, но скоро будет пуст. Глеб в возбуждении и подъеме.

— Я, знаете, все последнее время об Италии думаю. Читал кое-что... ну вот о Леонардо да Винчи... мне в Италию хочется.

Воленька полузакрывает глаза. На лице его разлито что-то мирное, почти нежное.

— Я раз в Аббатии жил, с отцом еще. Мы в Венецию ездили.

— Вам понравилось?

Воленька вдруг козлино захохотал.

— Понравилось! Не то слово. Как о рае вспоминаю. Есть жизнь, дни, будни, а есть рай. Вот я и побывал тогда в нем...

— Элли, слышишь?

Глеб доволен. Но Элли и не надо подгонять. Да, вот Италия... А много денег надо, чтобы съездить? Этого Воленька не знает, он тогда не интересовался. Да наверно немного, особенно если скромно.

Элли в восторге.

— Едем, и все вместе! Глеб аванс возьмет, я кольцо продам, ты, Воленька, тоже с нами.

Воленька улыбается детской улыбкой.

— Нет, уж я знаю...

— С нами, с нами!

Барышни Колмаковы уходят. Погорелков их провожает. За ними и Люся с Курилкой. Бал затихает. Услышав об Италии, Майя подает голос.

— Я бы в Италию не поехала. Я бы уехала в

Африку или в непроходимые леса Америки и там бы жила среди змей.

Художник мрачно покручивает ус.

— До Люберцов на билет денег не хватит, а ей в Африку!

Он обнимает вдруг Коленьку.

— Если жениться собираетесь, то не стиль модерн, пожалуйста! Прошу вас, на простой бабе. Умоляю. А то, видите, по ней змеи соскучились.

Коленька подтверждает: ему надо жену-хозяйку.

— Пан-нимаю! Которая яичницу сумела бы приготовить.

После гостей беспорядок страшнейший. Но преданная Марфуша о огромными серьгами, худенькая, с виду похожая на нищенку, не зря ведет хозяйство в этом доме — скоро все убрано. Господа веселились, она в кухне подремывала, а теперь, при бледнеющих предрассветных звездах и ветерке одиноким, улегшись на своем монашеском ложе, засыпает сном чистых сердцем, до семи, когда для тех же господ побежит в булочную и за молоком, позже самовар поставит. А господа еще нескоро утихнут. Элли будет мыться, чиститься, Глеб у открытого окна в фонаре, куря, глядеть на церковь Спасопесковскую в темных липах. Москва спит, май нежно трогает утреннюю зарю, над зарей жизни человеческой волшебный воздвигает полог.

— Элли, а насчет Италии-то как?

— Ах, чудно, чудно!

Она завивает последнюю, светлую косичку, закалывает ее шпилькой.

Глеб продолжает смотреть в уходящую ночь. А внизу, в первом этаже, Воленька уже улегся, но за-

снет не сразу. Он спит плохо. В полусумраке зари видней, ясней темные провалы под глазами.

**
**

Май пролетает над Москвой, над Спасопесковским, над Глебом и Элли, одевая нежную листвою липы вокруг церкви, Глеба же все завлекая Италией. Да, этой осенью ехать! Да, непременно.

И он взял для подкормки работу попроще — правил перевод, корректировал Метерлинка, собрание сочинений. Кое-что сам перевел. Кое в чем Элли помогала. Так надеялись они подсобить денег сверх обычных авансов. Так неслись их дни, среди Зинок, беготни с Люсей, в дружбе с Воленькой. Но именно Воленька и тревожил. Экзаменов держать не смог, все сидел дома, а потом просто слег — воспаление почек.

По лестнице с просторным пролетом вниз чуть не каждый день бегала теперь Элли навещать его, в первый этаж. Он лежал в комнате направо, окна прямо в церковный сад через улицу. Клавдия Афанасьевна копошилась в кухне.

Воленька лежит огромный, худой. Когда чувствует себя получше, читает Владимира Соловьева, Белого. Эллину приходу всегда рад — залетает она сюда, заносит свет мая, свой легкий локон, нежные духи, быстрый, веселый говор. Иногда цветов при- тащит. Воленька улыбается. «Ты пожалуйста почаще так... Мне лежать скучно. А вставать нельзя. Ну, рассказывай, как там ваши козлороги проживают?»

Элли докладывает: Майя с Косинским ссорится. На Погорелкова Равениус сочинил эпиграмму.

— А-ха-ха, га-га! — хохочет Воленька, дико и неожиданно громко. — Знаю. Мне Глеб говорил. Здорово!» «Он копирует Европу на передней стороне...» — А-га-га-га...! Только вы его не задразнивайте, он хороший малый. Парижско-ставропольский семинар!

— Ты слушай, ты подумай, — говорит Элли: — мне Косинский через два дня на третий присылает записку: «Дайте рубль. Умираем с голоду». Марфуша несет, это недалеко, в Толстовском. Ну, Бог с ним. А представь, вчера забегаю к Майе — крик, слышно на лестнице. Звоню, отворяет сам, разъяренный, усы висят, рожа красная. Майя рыдает. «Он меня избил!» «И еще избью, психопатка!» Я на него: «как это вы женщину смеее трогать! Гадость, вы мерзавец!» Ну, понимаешь, он того стоит. «А, мерзавец?» Хватает меня за плечо. «Я и вас сейчас избью. Не смейте в чужие дела вмешиваться». Я его обругала и выскочила. Подумай, какой хам! На другой день записка: «Умоляю, хотя бы полтинник. За вчерашнее прошу извинить».

— Хорошо! Ах, хорошо! — Воленька воодушевляется. — Люблю полоумных. А мне, знаешь, Андрей Белый прислал визитную карточку: имя, фамилия, а ниже, где ставят — ну, «инженер-механик», или «доктор медицины», там: козлорог-единорог. А? Это профессия такая? Неплохо? — Оказывается, многим такие разослал.

Так развлекаются Элли и Воленька. Но долго у него сидеть нельзя: надо нести корректуры издателю, взять новые, переписать глебов рассказ для журнала. Да, жизнь полна. Длинные ножки Элли резвы, как весенний дух носится она по Арбату туда-сюда.

Забот много, особенно чужих: не слишком ли далеко зашел роман Зиночки? Откуда Коленьке взять невесту? Или Люся — с ней постоянные истории.

Теперь этот Курилко. Все отлично, он от нее не отстает. Она на дачу, он за ней, она в Неопалимовский, он тут как тут. Но вот однажды Люся подкачала на извозчике, с чемоданчиком поднялась наверх. Огромные глаза заплаканы, черные локоны не в порядке. В передней остановилась, тряхнула кудряшками.

— Элли! Я к тебе! Ты у меня единственная. Я больше дома не могу! Он такой негодяй...

Значит, очередная ссора. «Ты понимаешь, мне ведь деваться некуда, вот я к тебе как к другу»... Слезы, Элли ее обнимает. «Понятно, понятно! Ну, счастье мое, располагайся, как дома». «Я так и знала, ты прелесть»...

Через полчаса Люся уже покойна, попила с Элли чайку в золотом послеполудне летнем, в грохотании пролетов по Арбату, визге ласточек вокруг Спасо-Песковской церкви. После чаю ложится на постель, вынимает записную книжечку, погружается в нее.

Элли стучит на ремингтоне. Листы вставляет аккуратно, пишет с пропусками — э-э, ничего! Одушевлена работа, все равно выйдет хорошо, потому что «Глеб отлично пишет». Это самое важное.

Наконец, кончила. Подходит к Люсе.

— Ты тут что считаешь?

— Записываю. Хочу точно знать, сколько раз меня Максютка обидел. Видишь, теперь в порядке.

И показывает книжечку. Там две графы: «Мои обиды» — «Его обиды».

— Ты видишь, мы пять лет женаты, он меня уж восемнадцать раз оскорбил.

— А ты его?

— Все указано. Погоди.

Она ведет пальцем вниз по другой графе.

— Семь, восемь... одиннадцать. Девятнадцать с половиной!

Подымает огромные глаза на Элли, не без изумления. Черные кудряшки тонко выделяют голову на подушке.

— Значит, я все-таки больше! Элька, слышишь? А я его девятнадцать с половиной!

Элли хохочет.

— Какая дура! Ах, какая ты у меня дура!

И они обе хохочут и целуются. Настроение Люси меняется. Значит, все правильно, не такая она казанская сирота, за себя постоять сумеет.

— Но я к нему, разумеется, не вернусь.

Начинаются планы. Да, поселятся вместе. Глеб, Элли и Люся. Квартину надо побольше. Деньги? Ну, откуда-нибудь да появятся.

Глеб в эти дела посвящен. И сочувствует. Максютка, хоть и профессор, а болван первосортный. Давно пора Люсе удрать. Насчет денег, конечно, устроится. Вообще настроение Глеба: все хорошо! Все интересно, все ярко, осенью лутешествие, а сейчас вот он пишет, и хотя жутко — каждый раз как кончает рассказ кажется, что это последний, дальше ничего не напишешь: жутко, а под всем этим такой напор сил, чувств, такая острота молодости. Все бы взять, испытать, видеть!

На другой день Люся пытается помогать кое-что по хозяйству. Марфуша, потряхивая огромной серь-

гой в ухе, поминутно почесывая в голове, отстраняет ее. «Нет, уж, барыня, я сама... что уж. Нет уж». Люся мила и скромна. Курилко приходит. На том же балконе они воркуют. Перед вечером вновь лежит Люся на постели, опять записывает. Элли смеется.

— Обиды считаешь?

— Нет, теперь не обиды.

Люся снова серьезна. Теперь графа только одна, но с заметками. Элли опять заглядывает.

— Ах, дура, дура! Романы!

— Послушай, я отчасти перед Максюткой и виновата, конечно. Но что же мне делать, если уж я такая? Я ведь когда увлекаюсь, то всегда искренно.

Элли хохочет. Люся продолжает задумчиво:

— Ведь Максютка не всегда груб. Он иногда со мной и очень ласков. А я... я ведь отчасти выхожу перед ним дрянь?

Входит Марфуша, как всегда быстро, точно срываясь куда. Почесывает в голове пальцем. Серьга в ухе покачивается, в руках письмо — подает его Элли.

— От ихнего барина. Андрей принес.

Элли читает сперва покойно, потом смеется и вспыхивает, с оттенком гнева.

— Твой Максютка совсем одурел. Что, он с ума сошел?

— Да что такое?

— О тебе, конечно. Ну, это понятно, он сердится. И уже знает, что ты тут. Ах, идиот!

Элли бросает Люсе письмо.

— Грозит, что если ты не вернешься, он на меня в суд подаст... за похищение его жены! Глеб, иди сюда, я, оказывается, похитила у Максютки Люсю!

Глеб появляется, Элли хохочет, Люся болтает ногами высоко в воздухе и слегка повизгивает.

— Прелесть, Максютка мой, прелесть!

Глеб тоже в очень веселом настроении.

— Люсенька, да ведь он болван.

Но Люся не совсем так считает. Отсмеявшись, становится снова задумчивой.

— Вот, значит все-таки любит. Я плохая жена, а он меня любит.

К вечеру впадает она в меланхолию. Конечно, и Глеб и Элли очень к ней милы. Но все-таки... это ведь не ее дом. Ну, вот, проживет день, два, а дальше? Все на этой постели валяться?

Глеб и Элли вышли пройтись, на Пречистенский бульвар. Люся одна, в теплых летних сумерках. Она лежит, начинает опять, теперь мысленно, подсчитывать: сколько раз она вот так, в грустную минуту, ложилась под бок к Максютке, головой на плечо, у себя в доме, в собственной комнате. «Нет уж теперь, если здесь, то никогда я не лягу к нему подмышку, нет, уж никогда...» Из ее черных глаз капает на эллину наволочку слеза. «Никогда не увидеть мне Максютку».

Ночью спит она в глебовой комнате, а Глеб с Элли здесь. В девять они поднимаются. Марфуша подает самовар.

— А что же барыня встала? — спрашивает Элли. — Сейчас чай будем пить.

Марфуша юборачивается, встряхивает головой. Серьга в ухе отчаянно прыгает.

— Нету барыни. Телько я это в булочную собралась, они уже одетые, и со мной вместе вышли, и че-

моданчик с собою... скажи, мол, благодарю... меня муж ждет. И мне за услуги полтинник дали.

**
*

В это время Цусима гремела. Тонули русские корабли, тонули русские моряки — вдали, на краю света. Некоторые надеялись, что победа Японии будет России полезна.

Глеба политика не занимала. Но читая об этом, он содрогался: можно ли себе представить, что вот тысячи людей просто-на-просто утонули в пучинах? Или задохлись в трюмах опрокинувшегося крейсера?

Элли оплакивала знакомого. На одном из броненосцев погиб граф Нейрод — года два назад встречалась она с ним в Севастополе. Не пожелав сдаться, пустил себе пулю в лоб. «Это что-то ужасное!» говорила Элли. «Я как сейчас помню его на набережной у отеля Киста, весь в белом, нарядный моряк... совсем юный. Как у них там называют... мичман, что ли? Или лейтенант? Глеб, ты понимаешь, он всегда немного тем форсил, что вот он барин, граф. Да, и не захотел сдаваться».

Элли волновалась и кипела, искренно ей было жаль и графа, и других, но в кипении этом быстро и разряжалась. Зашла в церковь к Николу Члотнику, помолилась, поплакала, поставила на канун свечку, вспомнила Севастополь, как с мамой туда ездила — в самый разгар разрыва с мужем. Белый Херсонес, скалы Георгиевского монастыря, синий туман моря, солнце — блеск его ослепительный в ряби волн — Боже мой, на таких волнах, может быть и в такой же день погиб бедный Нейрод и никогда уже не увидит

их. Все это грустно! Все очень грустно, но за церковью Николы Плотника снова Арбат, то же солнце, летний грохот пролеток и ее молодая жизнь, Глеб, любовь... Осенью Италия. Боже, как хочется жить! Как иногда страшно и скорбно на душе, потом как сияюще!

(И война, ужасы Цусимы, все несло, уносило, светлою рекою замывалось.

Глеб, из за работы, не мог тронуться в Прошино. Июнь, жаркий июль проводили они в Москве. Хотя к летнему городу мало привычен был Глеб, но сейчас чувствовал себя хорошо. С утра за работой — сам ли писал, поправлял ли переводы, корректуру ли держал — весь день его погружен в литературу. Иногда Элли уезжала к Люсе на дачу в Люблино, Глеб один сидел над гранками, относил их на Молчановку издателю, жарким московским вечером — дело свое, нужное. Это не лекции в Техническом и не Коровий Брод. Даже не Университет, куда он так стремился, а теперь все больше холодел. И отец мог недовольно удивляться: «чего он там сидит в Москве? Жарища, пыль! Неосновательные люди! Городские». Мать тоже могла сколько угодно огорчаться, что это «она» удерживает его, «ей, конечно, в деревне скучно!» — Глеб с Элли пустили в Москве корни.

Днем солнце туманным огнем висело в небе, по ночам духота. А в один из послеполудней, за Тверской зашла страшная туча, с зеленоватым оттенком, с прозным валиком-оторочкой впереди. Она двигалась на Арбат, Спасопесковский. По началу шла медленно, в угрожающей силе, потом вдруг завихрилась в пыли смерчи над московскими улицами,

листья откуда-то полетели и — вихрь, вой, окна хлопают, где-то стекло вылетело, надвинулась зеленая тьма, ломавшаяся огненными извивами. Било, стреляло! Белый дождь хлестал. Задыхаясь в урагане, едва успел Глеб затворить окно (чуть не сорвало занавеску). Элли побледнела. «Глеб, это что-то ужасное! Ты посмотри только...» И на всякий случай к нему привалилась: все-таки, мужчина, муж. «Да, знаешь...» О, что за силы! Нечто, может быть, и мистическое? Не таков ли будет и конец света?

Но конец света еще не наступил. Буря отвыла, отгрохотала сколько ей полагается, и отошла. Наступила минута — можно окно отворить. Капли еще летят, но уже над Тверской светлеет и душистый, прохладный воздух входит снаружи в жар комнат.

Элли бежит вниз к Воленьке. В его комнате лужа: не успели окна закрыть во время, Клавдия Афанасьевна возится с тряпкою. «Ну, как ты, Воленька, прелесть моя?» Воленька лежит на спине, дышит довольно тяжело, но улыбается, протягивает Элли опромную руку. «Ничего, ничего!» «Боялся грозы? Я ужасно!» «Грозы не грозы... я, знаешь, стал задышаться очень». «Еще бы, духота какая». «Я рад, что ты пришла... ты, Элли, такая веселая. И ты ласковая... Клавдия Афанасьевна кончила вытирать пол. «Он всегда уж вас ждет. Как, говорит, Елена Геннадиевна придет, так мне и лучше». Элли смеется. «Ну, тогда надо у тебя вечно сидеть?»

Когда Клавдия Афанасьевна вышла, Воленька поцеловал Элли руку.

«Да, всегда... а нынче ради особенно. Гроза, ты говоришь, от духоты задыхаюсь... Нет, хуже. Мне, Элли, очень плохо. Я уж при маме не хотел говорить.

Мне все хуже. Заливает меня... вот... — оттого и дышать трудно». Он сел на постели. «По ночам тяжело. Не могу спать и все мрачные такие мысли. Ну, конечно, все умрем, а все-таки... Элли, знаешь, страшно умирать». «Да Господь с тобой, ты двадцать раз оправишься, чего тебе умирать? Осенью в Италию вместе поедем!» Воленька посмотрел на нее внимательно, чуть улыбнулся. Наклонил голову, будто разглядывал свои руки. Огромные впадины на висках полоснули эллино сердце. «Ты помнишь, я тогда читал, у вас на вечере, Андрея Белого: «исчезнет мир и Бог его забудет» — нынче ночью как раз это вспомнилось. Неправильно, конечно. Бог есть и не забудет, помни это, я завещаю тебе, ты светлая, но путаная голова, я тебе завещаю: Бог есть, и не оставит, но пути Его... ах Его пути не по нашим головам. Мы знать не можем. Ах, мы иногда изнемогаем». Он вдруг взял голову обеими руками, закрыл лицо ладонями. Элли вся задрожала — в нестерпимой жалости. «Воленька, Воленька, милый...» Припала к нему, он слегка отстранил и вдруг всхлипнул. «Не надо, не надо, добрая душа, полевой ветер... у тебя Глеб есть, тебе еще долго жить с ним»...

Когда Элли поднялась наверх, прозрачно-золотеющий, зеленоватый вечер наступал уже. После дождя все просияло и промылось, искрится в благоухании. Глеб занялся корректурами.

— Ну, как?

— Ужасно, ах, ужасно.

Элли ходит, садится, опять встает.

Воленька так страдает, ему надо помочь, но как? Чем? Элли непрочь была бы просто болезнь из него вытащить, задушить... да, но это ребячество.

— Ему делают теперь сухие воздушные ванны... страшно горячие, чтобы выпаривать воду. Такое мучение... а потом, когда спину трут, то ему легче. Я буду к нему ходить, у него дежурить, вот так растирать спину.

Марфуша внесла самовар. Золотые серьги ее блестели в вечернем солнце. Пар забивал лицо — маленькая, проворная и худая, походила она на обезьянку.

— Барыня, гроза-то была... Вихорь-то! В булочной сейчас говорили: Анненгофскую рощу снесло. Пря-ямо! Как на покосе, говорит, скосило. Ни дерева! А то еще, будто, товарные вагоны в Дорогомилове посбросало, как есть с насыпи вниз под откос...

Элли села за самовар. В тихих сумерках, прозрачных и безмятежных, шили они с Глебом чай, ели теплые савостьяновские калачи с маслом Бландова — может быть и из прошинского молока. «Чайная» колбаса, ломтики ветчины. Глебу казалось, как грустно, и радостно вот так сидеть, так уединенно, среди бурь и сияний, здесь вдвоем и в любви, и в приятельстве, а там, внизу, темная бездна со стонами Воленьки. И они на самом краю, на самом.

Элли вдруг приподнялась, обняла его. В полусумраке вечера он совсем близко увидел знакомые, милые, сумасшедшие зеленоватые глаза.

— Глеб, не умирай! Ты... не умирай! Я не могу, не могу...

Ее теплое, легкое, такое знакомое тело со слабым запахом духов, с мягкими, путаными волосами

на голове, иногда такое бурное, кипящее, в детской беспомощности на нем повисло.

— Не умирай!..

**
*

Сандро бегал по Москве с видом неунывающего сатира, заговаривал молодых дам Гамсуном и Пшибшевским, бурно хохотал, много ел и юткуда-то умудрялся доставать деньги. Попорелков исследовал кабачки и клоаки, прицеливаясь на московского Верлэна — в боковом кармане всегда носил тетрадочку стихов, только что написанных: охотно почитает, были бы слушатели. Цилиндр все красуется на нем, красная гвоздика в петличке. И в конце концов он отдаст и тому же Сандро и вообще кто попросит последнюю трехрублевку, считая, что так поэту и полагается. «Как весна я молод, и как пламя жгуч» — но и следующая трехрублевка неизвестно ему самому каким способом все-таки у него появится.

Люся успела к Курилке за лето остыть, ее больше занимал теперь студент в Люблине, сосед по даче. Заезжая на Арбат к Элли, она сияла агатовыми своими глазами. «Ты понимаешь, он слушает археологические лекции, сам работает, его при Университете оставят. Очень, оч-чень интересный. Он про мозаики Кахрие Джамии страшно занятно рассказывает. Ты как смотришь на Кахрие Джамии?» Элли вряд ли могла сказать нечто о Кахрие Джамии, но Люся тряхнула кудряшками и неслась уже дальше. «Да, а ты знаешь, тот ураган, помнишь... ну, у нас весь огромный лес, за озером, как косой скосило».

Итак, все в порядке. День набегает за днем,

июль идет за июнем, липы вокруг церкви Спасо-Песковской отцвели. В передовом журнале появилась статья о Глебе — Элли всем показывает. «Вы читали? очень хвалят...» Глеб делает вид, будто недоволен что она развешивает, да и сама статья... ну, разумеется, сочувственно. Сам-то он перечитал ее не раз — первая цельная статья, а еще книги нет, отдельные рассказы. Свое имя в печати кажется особенно нарядным, да, неплохое имя. Сразу из других выделяется.

В это же самое время Воленька внизу задыхается. Его мучат ваннами. Элли к нему бежит вниз-вверх, легким эльфом на длинных ножках, они не устанут носить ее, не устанут. «Глеб, это такой ужас, он так страдает!» Глеб тоже ходит и тоже сочувствует. Но у него нет дара Элли, он и стесняется, и робеет, и так расстраивается, что мало дать может. Поднявшись наверх широко вздыхает: да, тут его рукописи, там лист метерлинковской корректуры, здесь журнал со статьей, книги об Италии... — все дело в этом, и в этом главное.

А вот входит Косинский. Он красен, усы его вниз, глаза воспалены, воротничек помят. Элли является. Он грузно сел. «Да, так-то... Глеб, у вас папироса найдется?» Глеб подает. С видом идущего на казнь, вкушающего последнюю радость, Косинский затягивается — жадно и самозабвенно. «А психопатка-то моя сбежала...» Он на Глеба смотрит тяжким взором. «Ну, куда... как сбежала?» «Да уж так. Бросила. С прохвостом». Молчание. «Послушайте, вам приходится когданибудь видеть вырожденскую стерву с поэтическим именем?... — Майя! Нежно и волшебю. Но в ней, знаете, какая душа? Ку-

харки-с! Ах, что там, я вашу Марфушу обижаю, это золото рядом с моей феей. Нет, сколько она крошечки моей попила, этого не расскажешь. У вас вина нет?»

Вина не оказалось. Все равно, гость не смолкает. Профиль его волкообразный еще резче, усы еще ниже и длинней. «За моей спиной завела шашни с проходимцем, — будто офицером, он казацкую форму носит, у него и кинжалы, и газыри, какой-то фантастический казак. Морда красная, играет на гитаре, сам белобрысый и брови белые — а имя? Все врет, разумеется. Фамилию явно сочинил: Мельгау де Граф Энлевейн Гурри. Подумать только! Этой фамилией мою дуру и доехал. Мельгау де Граф... нелепость, для психопаток! Уверяю вас, будь этот жулик просто Сидорчук, ничего бы и не было. Но бестия продувная: подговорил тайно бежать, в мое отсутствие (я уезжал в Абрамцево). Вещи все забрала. Свои, да и моих не постеснялась! И главное — все мои деньги! Возвращаюсь, ни копыя! Совершенно обчистила.

— Много ваших денег увезла?

— Десять рублей.

Элли засмеялась.

— Какая прелесть!

— Да, вы смеетесь, потому что вы помещица. Взяли да и уехали в деревню.

— Я помещица?

— Разумеется. У вашего мужа имение. Для вас десять рублей не деньги!

Элли вспыхнула.

— Ну, это уж вы чушь порете!

Глеб вмешался.

— Единственно, что мне в политической экономике нравилось, нам в Университете читали: психологическая теория ценности, Бем-Баверка.

— Эти Бем-Баверки хороши, когда деньги есть.

— Элли, понимаешь: у кого рублей больше, тот каждый рубль меньше ценит. А у кого их...

— Именно, у нас с тобой страшно много!

— А у него еще меньше. Десять что тысяча.

Бем-Баверк успокоил волнение. Было признано, что последние десять целковых унести очень жестоко, ну, а насчет причин внутренних...

У Элли на этот счет взгляды ясные.

— Если она его полюбила, то это все. Любовь все. Тут ничего нельзя сделать и она права. А деньги... фу! Ничего.

Художник долго бурчал. В знак сочувствия Элли дала ему три рубля. Он пошел утешаться в «Ливорно».

В тот же день, возвращаясь домой в сумерки, Элли у двери воленькиной квартиры увидела большой темный гроб — он приставлен был к стене стоямя, рядом крышка с глазетовыми кистями. Похолодевшею рукою толкнула она дверь, никогда теперь и не запиравшуюся. В передней было темно. Клавдия Афанасьевна брела из кухни, шаркая туфлями. Дверь к Воленьке приотворена. Букет огромных колокольчиков — Люся привезла из Люблина — на столе. «Ослабел, ослабел, зашептала Клавдия Афанасьевна. «После ванны совсем слабеет». «А... а, да»... Элли взяла Клавдию Николаевну за рукав, попятилась назад к двери. «Ничего, вы и здесь можете говорить, он заснул сейчас, ничего»... Они вместе выступили на лестницу. Ни гроба, ни крыш-

ки не было. Элли перевла дух. «Я нынче еще зайду... ночью у него посидеть, потереть спину». «Спасибо, душечка, вы замучитесь с ним».

Элли медленно побрела вверх. «Что ж, я сумасшедшая, на самом деле? Психопатка?»

Взошла к себе потихоньку, сняла перчатки. Все было мирно, обычно: Марфуша возилась на кухне, Глеб зажег у себя лампу и писал что-то. Она его позвала, прошла в большую комнату с фонарем-балконом на Спасопесковский.

— Глеб, слушай... ну это что-то ужасное. Я сейчас гроб видела. У Воленьки. А там никакого гроба нет.

И она рассказала все как было.

Глеб взял ее за руку. Рука очень холодная.

— Померещилось тебе... от нервности.

Она сидела на постели очень бледная. Потом вдруг ослабела и мягко, как-то безответно завалилась на спину, поперек кровати. Глеб знал — с ней такое бывает, обморок. Знал, и всегда боялся таинственной этой силы, сразу жизнь останавливающей. Бездыханна, беспомощна! Он ее поднял, руки висели. Положил голову на подушку, расстегнул ворот, одеколоном потер виски, дал понюхать. Опять приподнял и к себе прижал. Кто-то хотел отнять ее у него. Нет, мое, не отдам! И встряхнул.

Точно сорвалось что внутри с шетли, глубоко она вздохнула — да, да, жизнь! Глеб целовал ее лоб, пахнувший одеколоном, слышал стук собственного сердца, но теперь это не тот, страшный и безмолвный мир, а она, настоящая, хоть и такая по ребячески сейчас слабая Элли. Она его обняла. «Ты тут...

ну, ничего, значит все хорошо. А мне плохо было». «Да, да, лежи, я тебя укрою».

Этот вечер был тих, так уединен. Элли лежала, Глеб кормил ее супом, она съела крылышко цыпленка, из Прошина присланного. «Нездоровая барыня-то?» шептала Марфуша, почесывая в голове пальцем. «А я им чайку горяченького»... И уже бежала назад в кухню, потряхивая серьгой на ходу.

Элли просила, чтобы Глеб спал нынче здесь. Марфуша постелила ему на диванчике. А сама вниз спустилась — сказать Клавдии Афанасьевне, что сегодня барыня не придет, «сами нездоровы».

— Глеб, — говорила Элли: — ты не уходи из комнаты. Тут и занимайся. А то мне без тебя страшно.

— Чего же страшно?

— Не знаю. Страшно.

Через несколько минут она спросила:

— А по твоему Воленька умрет?

Глеб вздохнул.

— Да, мне кажется.

— И я так думаю. Бедненький он. Дай мне руку.

Глеб подошел, сел на постели.

— Ничего, спи. Господь с тобой.

Она погладила его руку, потом поцеловала ее.

— А что там будет, Глеб? Ты себе представляешь?

— Нет, мало. А верить надо.

— Мы не расстанемся и там, — сказала Элли тихо, твердо. — Иначе быть не может.

С этим вдруг, младенчески и заснула, лежа на спине, тем сном чистым и невинным, точно ей лет семь. Глеб минутку посидел, потом поднялся. В

комнате, во всем доме, во всем, показалось ему, городе и мире было тихо. У изголовья Элли лежало маленькое Евангелие. Глеб взял его, наудачу развернул. Открылось о блудном сыне. Он прочел, поцеловал и положил книжку на место, рядом с головой Элли. А сам сел к лампе. Он был взволнован. Он себя странно чувствовал. Но легко, как будто шолон сил. Да, вот этот круг света лампы, тут он и Элли, а дальше тьма, и внизу бездна, где Воленька близится к отходу. Но в этом свете жизнь, что-то страшно-важное и таинственное, и грозное, но это все надо. Все хорошо. Страшно, грустно, радостно — все надо.

Элли тихо спала. Во сне безраздумно подняла руку, жестом вековечным женственной нежности, слегка изогнув ее в локте. Положила на нее голову опять как Микель-Анджелова «Ночь».

Глеб смотрел и смотрел — вот эти грусть и очарование спящей молодой женщины. «И она все же уйдет, так же умрет, как и я. Значит, так уж дано. Боже, не разлучай нас в вечности».

**
**

Лицы внизу пожелтели. Хмурилось, дождь. В комнату вошла Марфуша, не стремительно. Вид у ней будто бы и смущенный. «Там, барыня, снизу пришла женщина. Барин ихний... скончались».

Глеб и Элли перекрестились. Через несколько минут были уже внизу. Огромный, безмолвный, сложенными на груди руками, лежал Воленька на спине, навсегда уснувший, смотрел в ту же вечность. Распростершись пред ним, Клавдия Афанасьевна

исходила вечным материнским стоном — от начала рода человеческого до его конца.

Элли поцеловала теплую еще руку. «Воленька, милый...» — но вся нежность ее никогда бы не могла поднять этого и худого и костистого человека с огромным лбом и провалами на щеках с его смертного ложа. Элли просто по женски его оплакивала.

Скоро и Коленька появился. Он тоже был и взволнован, и расстроен, но в меру. Обнял мать, посадил ее. Умер брат — очень жаль. Но его надо хоронить, надо все это и устроить, и о квартире позаботиться. «Коленька», говорила сквозь слезы Элли: «он ведь был чудный, чудный!» «Ну, да, разумеется... Да что же теперь поделать. Теперь надо его хоронить».

А через несколько времени сообщил Глебу, что сам как раз женится. «Все так и выходит, в той квартирке, в каюте-то моей где же мне с женой бы устроиться. Теперь будем с мамой здесь жить». Они стояли у окна. Карие, живые, жизненные глаза Коленьки уже осматривали, как бы и примерялись к размерам комнаты — где что поставить, что внести и что вынести. «А вы с Элли, мне говорили, в Италию?» Глеб вздохнул. «Да, собираемся».

Глеб был грустен, вполне в этом искрен. Могилы и бездна зияли пред ним. Но хотелось другого... И это другое уже воплощалось — в круговом маршруте билета: Варшава — Вена — Венеция — Флоренция — Рим — Неаполь — *andata ritorno*. Одна часть души была здесь, а другая уж там и ничто не могло этого изменить.

Коленька правильно и прилично соорудил похороны. На другой день утром, у двери Воленькиной

квартиры Элли очень ясно увидела тот самый гроб, прислоненный к стене, рядом с ним крышку, которые были уже ей знакомы. Холод знакомый прошел по спине. Но на этот раз через несколько минут гроб вносили уже в квартиру, туда полагали Воленьку, чтобы завтра везти на кладбище в Дорогомилуво.

«Значит, я сумасшедшая?» сказала Глебу Элли. «Как же могла видеть тогда... все, до мелочей газета то же, что и теперь?» но Глеб не задумался. «Не сумасшедшая, а способна к экстазу. В ту минуту вышла из времени. Гроб видела все тот же, но до нас и до тебя обьчной он дошел только сейчас». Элли не очень поняла, но успокоилась. Раз Глеб сказал, значит верно. Он и читал недавно что-то о четвертом измерении. Значит, не сумасшедшая.

Через несколько дней после смерти брата Коленька въехал в квартиру матери. Глеб же и Элли, наволновавшись, наплакавшись сколько надо, подъезжали в то время к Варшаве, откуда скорый поезд, мимо пограничной Тшебинии, должен был мчать их к Вене, Италии.

VIII.

Думая, что в деревне будет жить вольной и милой сердцу помещичьей жизнью, отец ошибался: ни широты, ни общества, как в Людинове, ни занятого дела не оказалось. Хозяйство скромнейшее, охота плохая. Завел-было гончих, выезжал с Кноррером, но и из этого ничего не вышло.

Он старел и мрачнел. Уходила веселость, остроумие молодости. Все дольше, унылее сидел над своим пивом в столовой ли, или на балконе, подперев рукой голову, придираясь где можно к матери. Мать же была как всегда — в холодноватой ее сдержанности невелика власть времени. Но оно шло. В столь знакомой с детства прическе с пробором посредине все больше замечал Глеб седины. Но так же спокойно она являлась, в кухне ли, или в гостиной, с поденщицами или работниками — со всегдашней непререкаемостью и властью. Так же вздыхала, так же ложилась днем, после обеда, прикрыв голову и глаза носовым платочком — лежала и не спала, думала.

Лиза с Артюшей под Ставрополем, в глуши. Там он лечит каких-то калмыков. Вот Лизе и приходится разыгрывать в Башанте Бетковенов, растить и обучать пятилетнюю дочь.

Глеб здесь, в Москве, и «эта женщина» видимо крепко его взяла, они живут как им нравится: шум-

ная молодежь, рестораны, клуб литературный. На авансы издательств ездят в Италию. Вообще же ничего у них нет, все на фу-фу, все на фу-фу, лето проводят в Прошине и только об этой Италии и говорят... Кажется, осенью опять собираются.

Мать от истины недалеко. Летом во флигеле живут у нее как бы дачники. Укромное это Прошино для них только станция, передышка. А настоящая жизнь: вновь увидеть Флоренцию и Тоскану, Рим, сокровенные и священные края.

Теперь у Глеба во флигеле было довольно уж много книг об Италии, карты, путеводители. Хорошо, что отец редко к нему забредал! «Городские люди, неосновательные», сказал бы, увидав разные Сиенны и снимки венецианские. «И куда это вы все торопитесь уехать? Разве здесь плохо?»

Разумеется, плохо тут не было. Но когда на вечерней заре выходили они в поля, на прогулку, то мечтали все больше о том, как бы снова закатиться подальше — на этот раз, скажем, в Ассизи, Урбино, или еще куда. «Помнишь, совершенно так же солнце садилось, когда мы были на Сан Миниато и еще осмотрели на Флоренцию? Ах, чудно, чудно». Все, что Италию напоминает, «чудно». «А из Фьезоле спускались вечером в Сеттиньяно и еще светляки летали? И мальчишки дохлую крысу под мост бросили?»

Даже крыса итальянская, и та радовала на полях тульских — а плохие ли были поля? И русский закат? Если же пред ними русские луга в слабом тумане, это значит Равенна, ее окрестности, около S. Apollinare. «Ах, какой запах сена! Как в Равенне».

С матерью ничего у Элли не выходило. Хотелось бы, например, полить цветы на клумбах перед домом — «Нет, милая, зачем вам беспокоиться, я велю Кате». Или Глебу что-нибудь заштопать — «ах, нет, у нас портниха на-днях будет, она все и устроит».

И подобно Глебу Элли вела в Прощине жизнь в своем духе: мечты, прогулки, чтение.

Любила с детьми болтать. С кухаркиной дочерью Таней и другой девочкой с деревни — звали ее Манька Клавиш — ходила купаться. Тут их увеселяла, изумляла. Ноги у Элли, правда, знаменитые. Раздевшись, прежде чем лезть в воду, она сидя закладывала их одну за другую — заплетала венком. Потом пальцем ноги чесала за ухом — ни на что подобное прощинские девы не были способны. «Танька, Танька, гляди! Пря-а-амо!» Манька Клавиш с восторженным изумлением смотрела, как белые и точные ножки барыни завивались чуть не узлом. «Вы не думайте», говорила Элли: «у меня ноги особенные. Они у меня волшебные». Манька Клавиш разевала рот, полный огромных зубов — за это и прозвана Клавишем. «Они как живые. Любят друг друга, ласкаются. Видите?» Она гладила ступню одной пальцами другой. «Иногда плачут. А то смеются. Они разговаривают друг с другом и со мной». «О чем же разговаривают?» Элли, все сидя, подняла левую ногу, приложила палец ее к уху. «Да вот левенькая говорит: пора, говорит, Маньке в воду лезть. И пускай там раков в бережку пощипет». «Барыня, да неужто правда?» «А еще», говорит, «словам моим только дуры не верят».

Но на это звание ни Таня, ни Манька-Клавиш не

зарились. Для них вся вообще Элли была волшебная, особенная, ни с чем прошинским несравнимая. Как же не верить, что и ножки ее, никак на деревенские непохожие, могут болтать, любить друг друга, ссориться и мириться? И под зноем солнца июньского, при запахах — речки Апрани, лозняка, травы, и при всем очаровании лета российского, кидались они в воду — Таня и Манька казались рядом с Элли мулатками. Брызги летели, они визжали, плескались, топили друг друга — скромное развлечение погожего дня.

Но вот однажды, вернувшись с такого купанья, Элли нашла дома смущение. Глеб, в светлой своей чечунчовой блузе, повязанной ремешком, встретил ее еще на скамеечке, у входа в большой сад. «Ты знаешь, нарочный с почты. У Лизы плохо». Глеб был расстроен. Элли побелела. «Нет, ну все живы... но ты понимаешь, девочка тяжело захворала. Дизентерия». «Ну, это что-то ужасное...» Элли даже села от волнения на ту же скамеечку — Таня и Манька-Клавиш замерли. «Да, понимаешь, они там одни, в степном поселке. Лиза, конечно, из сил выбилась». Элли вскочила — точно молния пронеслась по ней. «Я туда еду. К Лизе. Сегодня же». «Уж не знаю... да, хорошо бы, но ведь так далеко». «Идем, живо... Нет, это что то ужасное. Нет, я уж не могу сидеть в этом Прошине, когда там...»

Остановить Элли теперь было бы не так и легко. Что-то в ней сдвинулось и понеслось — никакая умеренность прошинская не могла бы ее остановить. С мохнатою простыней, влажная и прохладная телом, но с высоким давлением внутри, быстро она прошла садом — Глеб едва поспевал. На балконе на-

крыто к вечернему чаю. Отец, хмурый после дневного сна, побалтывает ложечкой в стакане. Мать, в белой кофточке, за самоваром — сдержанная, но в тревоге.

— Какой ужас! Галочка захворала?

У Элли такой вид, тон такой, что все тотчас должны впасть в то же волнение и возбужденность, как у нее. Мать на нее не смотрит.

— Да, нездорова.

— Ну, так ведь одна же Лиза там не может справиться?

Мать подымает глаза от чайника.

— Наверно нелегко. Вам сейчас наливать чай, или вы зайдете сначала во флигель?

Мокрые локоны висят у Элли со лба, она их откидывает кое-как. И садится, отложив простыню.

— Я поеду к ней.

Мать слегка бледна. Налила чашку, передает Элли.

— Это очень далеко. Зачем вам тревожиться?

— Ах, я просто сегодня же и уеду! Неужели ж ей там одной быть?

Собственно, мать сама думает так же. И сама бы поехала, но живет в рамках и правилах — жизни, хозяйства, привычек — и как же так, вдруг взять да и бросить Прошину, и поскакать за тысячу верст... Ну, «она», конечно, куда угодно может поскакать, на то она уж такая... И как бы действуя сама против собственной дочери, мать медленно начинает приводить доводы: наверно сегодня и лошадей нет, и потом неизвестно, когда из Москвы поезда идут на Кавказ, и конечно, пока доедешь туда, все может так

или иначе кончиться. Надо все вперед выяснить, «а там посмотрим».

Но Элли смотреть не может. В той же волне подъема, несмотря на противоречие — медленное и упорное — матери, тотчас она начинает укладывать. «Если лошадей нет, я на станцию и пешком дойду. Чемодан мне Глеб донести поможет».

Представить себе, чтобы сыночка шел пешком, еще чемодан бы нес!

И лошади, разумеется, отыскились. Тем же вечером, при затаенных вздохах матери и отца («все не по-людски делается!»), Элли садилась со своим чемоданом, в черной большой шляпе, в ту самую коляску, на плавных рессорах, которую берегли для серьезных поездок. Мать подставила щеку для прощального поцелуя. Отец, хмуро облокотясь на балконные перила, глядел как Элли устранивалась в коляске. Глеб провожал ее до станции. «Левого пристяжного придерживай», крикнул отец: «он опять у тебя будет горячиться. На нем на одном и поедешь!» Эллиная шляпа проплыла мимо балкона в зачинающихся сумерках. И светлая блуза Глеба. «Городские люди! Городские. Неосновательные». Отец тоже понимал, что на помощь Лизе отправиться надо, но тоже чем-то был недоволен.

**
**

Насчет поездов мать напрасно тревожилась: поезда шли отлично и Элли без затруднений катила в сером дне московском мимо скошенной ураганом Анненгофской рощи, чрез Перово, Люберцы, к Фаустову со знаменитыми пирожками на вокзале, чрез

Рязань, где Ока разворачивает луга бесконечные, заливные, в края Ряжска, Козлова, Воронежа. Жуя шоколадную плитку и глядя в окно, видела бесконечно-распаханные поля, жирные, черные земли и созревающие моря хлебов сизо-желтеющих, и далекие, за рекою, леса. Деревни разбросаны реже, чем под Москвою, размером же больше. Вообще все здесь крупнее и диче. Вместо плугов сохи, на бабах поневы каких нет уже под Москвою, мужики первобытней, как и далекою стариной отзывают курганы, иногда вдалеке маячащие.

Чем далее за Воронеж, тем степей больше. Где уж тут Прошину и подмосковью! Вон оттуда, из за черты горизонта на востоке, шли эти орды, из за Каспия. Астрахань, низовье Волги, туда, да и дальше ездили на поклон русские князья, погибали там, мученические венцы стяжая. И прошло все — как гроза, как ураган, косивший Анненгофскую рощу — лишь курганы сторожевые остались.

По донским просторам докатились к Ростову, он мелькнул хмурой массой, в постах, элеваторах, что-то скучно-торгово-промышленное. Мутный Дон льется, а там, за ним, новые степи — опять сотни верст. Не так уж тесна Россия!

Элли вылезла на Тихорецкой и опять новый путь, железнодорожная ветка до станции Сандата. Край калмыцкий, начинается Азия, хоть на карте Европа. Здесь, в московской своей шляпе, светлом костюме, с чемоданчиком, Элли садится в тарантас — и по ровной дороге, по ровной, вдали голубеющей, бесконечной степи дальше куда-то катит. Куда? Кто кроме ямщика знает! Степь везде одинакова, знойный ветер из за Астра-

хани и Каспия, солончаки, кочевья калмыцкие, кое где селения в зное струящемся проплывающие. А вот ясно она видит село: церковь, избы, акации, пруд огромный, зеркально-ясный, бродят коровы, вдали верблюды — будто дремлет все в пекле. Под селом тонкая, стеклянно-зыблящаяся полоска по горизонту. И совсем недалеко, и совсем ясно видно. «Это что-ж за село такое? Скоро доедем?» Ямщик оборачивается. «Какое село?» «Да вон, впереди, направо?» «Энто, барыня, и не село никакое». «А я его вижу». «Оно, пожалуй, что и село, только нам по нему не ехать. Оно может, сзади нас, или сбоку». Элли изумлена. Как же сзади, когда перед собой его видим? «А это уж у нас так в степу бывает... одна видимость оказывает, от горячего-то воздуха».

Элли слегка взволнована. Мираж! Только бы еще пальмы увидеть, караваны пустыни. Да, странный край, странный, чужедальный. А ведь и это Россия. Как-то Лиза здесь вообще живет? Как-то девочка? И опять, как не раз в пути, темное волнение. А если уже опоздала? «Господи, спаси и сохрани!»

Перед вечером, при склонявшемся солнце, показался в степи одноэтажный дом, в стороне другой, поменьше, несколько деревьев да журавль-колодезь. «Башанта!» сказал ямщик. «Самая эта Башанта». «Может, опять марево?» «Нет, барыня, теперь настоящая. Тут еще год назад ничего не было, а теперь дохтур живет. Мне самому недавно прызь вправлял».

Да, вот где Лиза! Элли знала, что в глуши, все-таки не так себе представляла. Ни поселка, ни даже соседей.

Тарантас остановился. Золотой зной заливал чи-

стый домик, легкая тень мелких акаций только бродила, скользила по палисаднику. Пес забрежал. Из-за угла выскочил Артюша, в русской рубаше, загорелый, с длинными хохладскими — вбок — усами. Увидав Элли весь расплылся.

— У-у, як живо обернулась! О то молодчина!

Элли соскочила, кинулась его целовать.

— Ну, ну, а Галочка?

— Ничего, слава Богу.

И Артюша тащил уже чемодан, крутил ус, болтал с ямщиком.

Лиза, в легком капоте, увидав Элли задохнулась, заплакала.

— Как ты быстро... Как ветер. Мы сегодня не ждали.

Элли, сама в слезах, целовала мокрые ее глаза.

— Я в тот же вечер выехала, как телеграмму получила. Я уж сидеть не могла в этом Прошине.

В комнатах было прозрачно, знойно. Очень чисто, все новенькое, с иголочки. Со стороны солнечной ставни закрыты. Пока Элли, в волнении и возбуждении, умывалась, Лиза рассказывала про Галочку. Ах, натерпелась... Да и теперь еще все неясно. Измощена ужасно. Ну, а раньше...

— Ты понимаешь, бывали дни, когда Артемий сам голову терял. Мы тут одни, и врача нет другого, не с кем посоветоваться — поезжай в Ростов или Ставрополь. А ее несло так, понимаешь, безостановочно, с кровью. И она все говорила: «мама, больно!» Вот, ты посмотришь, во что она обратилась. У ней локоны были светлые, такие милые волосы, все обстригли, а уж как исхудала!

Через несколько минут Элли осторожно входила

в комнату Галочки. На постели лежало существо крошечное, с остриженной головкою, неподвижными в истощенности ручками, в той и слабости и покорности, как бы привычке к страданию, что так трудно переносить видящему.

— Это тетя Лена, сказала Лиза, от бабушки приехала. Тебя навестить.

Элли наклонилась, обняла маленькое тельце. Девочка слабо улыбнулась.

— Мама, есть хочется!

— Есть!

Лиза взглянула на Элли — удивление, робкая радость... (во взгляде).

— А животик болит?

— Не-ет, сейчас ничего. Есть хочется.

— Ну, если папа позволит.

— Позволит. Он позволительный. Мне курочки хочется.

Узнав, что попросила есть, Артюша дернул себя за ус и присел, раскорячив ноги.

— То питочки все просила, а теперь источки. Источки просит — добре, курицы еще не дам, а бульону с рисом.

И сам побежал на кухню: чтобы сейчас же суп варить, как он укажет.

Суп сварили на совесть. В сухом зное комнаты Галочка его ела. Артюша сам кормил. «Не журишь, не журишь, дивчина», приговаривал, когда слабеньким горлом проглатывала она ложку. Выйдя от нея с пустой тарелкою — несколько рисинок всего на ней — прошелся по столовой на раскоряченных ногах драконом, приседая чуть не до полу, делая страшную рожу и загребая руками как лапами. Лиза сама улы-

балась. «В первый раз за болезнь драконом пошел. Значит, развеселился». Лиза обняла Элли. «Это ты привезла нам кусочек радости. Господи, только бы сохранить».

Ужинали втроем, при багровом, заходившем в степи солнце, казавшемся огромным в таинственных азиатских туманах. По временам Лиза вставала, заглядывала к Галочке. «Нет, кажется, ничего...» Маленький человек спал тихо, в измученности, истощенности болезни.

Вечер провели вместе. Лиза расспрашивала о Прошине, о родителях, Глебе. Легли рано. Элли крепко спала, хоть и на новом месте, в комнате докторовой квартиры калмыцкой степи. А с утра сразу к Галочке: нет, лучше, лучше! Хороший сон, меньше жалуется, температура упала. И есть просит. Артюша совсем воспрянул. «Жива будет. Теперь выкрутится дивчина, хоть ты тут што...» Лиза тише держалась. Но и она оживилась. «Ах, не сглазить бы. И Артемий такой легкомысленный», говорила она Элли. «И увлекающийся. Знаешь, за что схватится, уж и не оторвать. Он, правда, очень намучился. А теперь уж считает, что она совсем выздоровела. Ему все нипочем». «Ах, нет, он прав, ты увидишь, увидишь! Все будет хорошо». Элли была в запале. Как в запале из Прошина вынеслась, как летела сюда, так и здесь неизвестная ей самой светлая сила ее несла. Башанта! Странное место. Из окон вечный горизонт степи, в версте дом Начальника по управлению калмыками, рядом приемный покой Артюши — сюда приезжают к нему калмыки лечиться; колодезь, чахленькие акации, верблюды, миражи. Ах, жить здесь! Но все-таки все как надо. Злые духи уходят. Жизнь возвращается.

Начались однообразные дни в одиноком домике; на солнцепеке, среди подсолнухов, арбузов, тыкв. Теперь Элли больше сидела у Галочки и разговаривала, даже читала немного вслух. Забавляла ногами своими, как и девченок в Прошине. Галочка искренно посмеялась, когда Элли чесала себе пальцем ноги за ухом.

Настал день, когда она стала рассказывать даже сама. «Тетя Лена, ты знаешь, у меня такой друг есть, Яшка. Ему восемь лет. И вот раз мы сели с ним на лошадей верхом, за холки держимся, так весело, а они вдруг других в степи увидали, да как помчатся... Тетя Лена, как страшно было! Целый табун. Мы за холки держимся, скачем и-и, скачем! Заскакали в табун, а там лошади все трутся, другие фыркают и брыкаются. Нас насилу калмык снял, сосед».

Вечерами, когда она засыпала, Элли с Лизой выходили пройтись — Артюша этого не любил, как и отец в Прошине считал делом пустым. Поливал огурцы в огороде. Или на флейте наигрывал.

Солнце только еще садилось — но уже затуманенное, закровавшее, теперь безопасное: можно смотреть простым глазом. Они шли прямо на него. «Видишь, там три креста? — Лиза показала налево. «Вижу. Огромные какие! Это что такое?» «Огромным в степи кажется иногда и то, что вовсе не огромно — обман зрения. Но эти действительно огромные. Тут когда-то калмыцкого князя убили, вот его память. Знаешь, место такое, что ни церкви нет и ни кладбища — умрешь, и зароят так, в степи, хорошо еще, если крест поставят». «Ты не любишь этих мест?» «Не люблю. Я люблю Москву, наше Прошино. А ведь тут вроде азиатчины. Знаешь, у них, у калмыков здесь храм есть,

буддийский, там их Будда. Мне это все чужое. Истукан такой деревянный, сидит ноги скрестил, вот как ты умеешь»... Она засмеялась. «Но на тебя Будда этот не похож. Ты легкая и веселая, а он... истукан».

Они подошли к крестам. Правда, кресты большие. И длинные, дорожками, тени ложились от них по ровной степи. «Калмыцкий князь», сказала Элли, задумалась. «Какой он был? Почему его убили?» «Да такой же, как сви и все, наверно... руками баранину ел, если до водки дорвется, так сразу уж допьяна. Их здесь сколько угодно таких. Вон, к Артюше на прием ездят».

«А зачем вы забрались в такую глушь? Неужели же нельзя было поближе устроиться?» Лиза слегка улыбнулась. «Так, Артемий вдруг заторопился. Вскипел, и по первому объявлению в газете взял место».

Они повернули от крестов. Теперь в доме Начальника края, вдалеке, окно запылало закатным пожаром. «Это отчасти начальство наше, но милейший человек, по фамилии Прегоровиус. Сейчас на несколько дней уехал, ты с ним и не успела познакомиться. Он нас очень во время болезни подбодрял, и помогал, чем мог».

Солнце ушло, пожар в окне стих, багряный сумрак наступил. Еще пройдясь, они присели на бревно, недалеко от дома. «Когда Галя здорова была, к нам этот Грегоровиус часто ходил, каждый день. Цветы мне присылал. Ну, немножко за мной и ухаживал, что ли, хотя немолодой, ему за пятьдесят. Нет, он очень славный. И музыкант. Так что мы даже трио устраивали, я рояль, он на скрипке, Артюша флейта. Вот мы так в пустыне и развлекаемся».

«А скажи пожалуйста, вдруг спросила Элли, «по-

чему Артюша так вскипел тогда, и взял первое попавшееся место?» Лиза несколько замаялась. «Так, меня хотел увезти...» Через минуту добавила. «Ему показалось, что мне один человек нравится».

Когда подходили к своему дому, звезды уж появились на небе, быстро засиневшем. Лиза слегка к Элли припала. «Я тебе рада, что ты приехала. Я в тебя верю, ты porte bonheur. Знаешь, как слоники бывают. А то здесь жуткий край. У меня суеверное чувство, тут разные малые их божества, кроме Будды — этот еще ничего! — а то божки какие-то злые, все это несчастием отзывает». Элли ее обняла. «Ты за галочку болезнь очень тизнерничалась».



Сидеть в Прошине одному, без Элли, не так было Глебу весело. И охотно он принял поручение съездить в Москву по хозяйственным делам: раздобыть у Мак-Кормика запасную шестереньку к жнее, зайти к Бландову, продать тысячный билет в Купеческом Банке.

Марфуша встретила его как родного (считала вообще вроде ребенка). Побывав у Мак-Кормика и у Бландова, Глеб направился в Купеческий Банк — там процентные бумаги отца.

Купеческий Банк на Ильинке, за стенами Китай-города — приземистый, неказистый и многомиллионный, был знаком ему. Все же сходя вниз, к нестерпимым шкафам, ощущал он стеснение. А вдруг почему-нибудь не выдадут? Мало ли какой предлог можно выдумать? Или подумают, что он получит отцовские деньги да и растратит их?

Знакомый заведующий любезно его принял — Глеб писал что-то и тот писал, ордер готов, сейчас сторож проводит к сейфу. Служащий вынул свой ключ, поиграл им, вопросительно посмотрел на Глеба. «Дайте, пожалуйста, и второй», вдруг бессвязно сказал Глеб. Служащий улыбнулся. «Второй ведь у вас должен быть». Боже мой, что за ужас! Посланный именно за деньгами, взрослый, писатель — и не только забыл дома ключ, но и спрашивает такую глупость! Глеб покраснел... «Ах, ну конечно... он у меня дома! Вы через полчаса еще не закроетесь?»

Когда лихач мчал его на Арбат, он и смеялся над собой, и сердился. «А тот наверно подумал, что я в отцовском сейфе безответно хочу похозяйничать. И вдруг я ключ еще куда затерял?»

Но ключ отыскался, тот же «резвой» вовремя доставил Глеба на Ильинку. Он сконфуженно опять спустился, думал, что заведующий все еще его осмеивает. Но тот давно уже работал над другим, принимал, отпускал разных клиентов — Глеб, как всегда, ошибался, считая, что все лишь вокруг него, Глеба, вертится.

Во всяком случае, вышел из Банка в смущении. Но как только вышел, сразу повеселел, пришла хорошая мысль: ладно, сделал глупость, но все исправлено, тысяча прочно лежит в бумажнике, он не пропьет ее, завтра в целости передаст отцу. А из своих собственных сделает ему и подарок.

И тотчас, взяв простого извозчика, мирно покатил на Петровку. Там ему повезло. У солидного и прохладного, в полутьму погруженного Вандрага, где не так много и покупателей, но все основательные, где не раз и они с отцом бывали, сразу нашел что надо:

летнюю фуражку, как бы капитанского вида, с белым верхом, твердым, блестящим козырьком — очень изящно и серьезно, совсем в духе отца.

Этой фуражкой и окончились его странствия по делам. Он посидел днем в знакомом кафе грека Бладзиса на Тверском бульваре, встретил там Сережу Костомарова — инженер технолог, все такой же спокойный и аккуратный как в Калуге, как в Гавриковом переулке. Но теперь женат — на Таисии Николаевне, и из Гаврикова переулка переехали они на Немецкую. Глеб поздравил его, и в знакомом бобрике на голове, в веснушках на лице, в капельке пота на носу опять мелькнуло что-то давнее, часть своей жизни, уже навсегда ушедшей. «А ты, кажется, литературой занимаешься?» «Да, понемногу...» «Что ж, это обеспечивает твою семью?»

Расставаясь, они обещали друг другу повидаться, когда Глеб осенью возвратится — и оба мало словам своим верили. Сережа уплыл куда-то незаметною тенью в сутолке Москвы летней, Глеб же, в вечерний час того дня, напутствуемый Марфушей, с шестеренькою в чемодане, тысячью рублей в боковом кармане и с картонкою от Вандрага, благополучно пока-тил в Прошино. Этот путь, взад-вперед, на Каширу-Мордвес, чрез Оку, предстояло ему совершить еще много раз, отмечая им краткие станции быстротечной своей жизни. Он ездил и летом и осенью, и зимой, и в мирные дни, и в войну, во времена революции. Всячески ездил: и с удобствами, и на тормозах, в первом ли классе или в теплушке набитой мешечниками — во всяком случае, чем больше так ездил, тем яснее чувствовал, что это и есть жизнь, вплоть до последнего путешествия, не по этой уже дороге.

Теперь же все совершалось в спокойствии и медлительности мирной России: лишь к утру он добрался до своей станции и забрав почту, на тройке, все в той же коляске, что недавно везла сюда Элли, так же неторопливо отбыл в Проштино.

Отец, как всегда в это время, сидел на балконе, читал Короленко. Спичка так же заложена в страницы, чтобы не забыть, где остановился. Он был нынче в добром настроении.

— Ну, как, ангел, хорошо ли съездил?

— Ничего, слава Богу.

Глеб подошел, обнял его, ласково поцеловал в пробор на голове, как всегда делал в детстве. Только волосы отца стали седые. Но в конце концов это именно его отец, тот, кто когда-то мастерил ему кораблики, учил плавать в Жиздре, читал вслух Гоголя. Отец ласку почувствовал и потерся слегка щекой о ладонь Глеба — тоже с детства знакомая ласка ответная: прежде он и матери так отвечал.

— Деньги привез, шестереньку тоже. У Бландова был. Да, вот и тебе кое что привез — это уж от меня... (Глеб показал картонку от Вандрага).

Вошла мать, тоже с улыбкою: сыночка возвратился, он здоров, весел, чего же лучше! Да при том один, без нее!

Мать обняла его. Глеб почтительно поцеловал ручку.

— Слышишь, — сказал отец (у него глаза вдруг стали влажны, он отер их платком): он мне подарок даже привез!

Глеб вынул из картонки фуражку, поправил белый верх, передал отцу.

— Вот, надень. Впору ли? У нас, кажется, одного размера головы.

— От Вандрага? Хороший магазин.

Отец взял фуражку, с видимым удовольствием примерил. Как раз! Опять снял, внимательно оглядел.

— Охотничий, братец ты мой, картуз! («Охотничий» на языке отца значило превосходный — что может быть лучше охоты и охотников!).

Мать сидела за самоваром в светлой летней кофточке, чистая и прохладная, но сейчас будто и недовольная. Потом вдруг сказала:

— Отличная фуражка. Но для тебя совершенно неподходящая.

Отец как бы смутился, надел ее вновь.

— Почему же неподходящая?

Мать была холодна и покойна.

— Именно потому, что для тебя слишком нарядно. В твоем возрасте сидеть на балконе в Прошине в такой фуражке...

Отец был в недоумении. Фуражку снял. Глеб вмешался.

— Да почему же? Теперь именно такие носят. И папе очень идет.

Мать взяла фуражку у отца.

— Нет, нет, глупости. У него есть серый картуз, совершенно достаточно. А для сыночки это отлично.

И она надела ему подарок на голову.

— Мало ли, к Кнорреру поехать, в Каширу или в Москву.

— Да я вовсе не для себя его купил. Я папе подарок делаю.

И он снял с себя фуражку, передал отцу. Мать

опять повторила: «Глупости. Ему некуда выезжать. У него для дома есть серый картуз — прекрасный».

У отца в лице что-то изменилось. Он вдруг подтянулся, как бы помолодел, что-то прежнее, времен Людинова и насмешливых ответов начальству в нем выступило. Он отстранил руку Глеба.

— Нет, нет, спасибо. У меня и действительно есть серый. Носи сам.

— Да ведь это же для тебя, мне не нужно...

Но отец стал холоден, сдержан, замкнут.

— Расскажи, что ты с Бландовым говорил.

— Ах, с Бландовым...

Глеб почти раздражился, но все же сдержался. На повторное предложение отец вновь отстранил фуражку и с тем вместе сам отспранился. Он стал очень вежлив, но далек. Из него ушел тот отец, которого радостно целовать в пробор, расспрашивать об охоте, набивать вместе патроны.

Глеб тоже стал сумрачен. Допив кофе, пошел во флигель. В передней метнулся в глаза белый верх картуза на вешалке — мать повесила его уже. Глеб с ненавистью на него посмотрел. Стоило ездить к Вандрагу! И вместе с тем знал, что вот в этом мать сильнее его, что он, взрослый, сейчас как ребенок.. И конечно, не миновать картузу именно его, не отцовской головы.

Во флигеле было другое, знакомое, и по своему милое: в первой комнате книги, письменный стол с бронзовым, зеленоватым Данте — подарок соседки. Книг много! Вот классики, с детства знакомый Толстой — маленькими томами на тонкой бумаге, Тургенев, тихонравовский Гоголь — переплеты жидринского еврейчика — по этим именно книгам отец

вслух читал в Устах «Тараса Бульбу». Пушкин — менее значивший. Там дальше Тютчев и Фет, Лесков, все свои, все отцы. Вот полка Италии. Вот французские символисты, там Флобер в светло-желтой коже, Соловьев в красном сафьяне, Герцен. А в другой комнате, где две постели — наполовину царство Элли, наполовину же и его: полки современников, много с автографами. И сквозь все это, через сетки от мух в окнах все-таки тянет из сада и огорода теплым июньским благоуханием — и пригреutoю парниковой землей, и цветущими липами, дальними ржами... — чуть келеблется легкая занавеска, да, после обеда здесь станет жарко, ну, он пойдет на Абрань купаться.

Рядом с Данте лежали на столе письма — одно из них Глеб сразу узнал, улыбнулся, вскрыл. Легким, небрежным почерком, торопясь, иногда недописывая, иногда валя строки на сторону и сбивая в кучу, Элли писала-бежала, из-за тысячеверстной дали: «Милый, как я по тебе соскучилась! Как живешь? Что делаешь? Пишешь ли, купаешься ли? Ради Бога не утони. Умоляю, будь осторожнее. Это последнее мое письмо, больше не жди, завтра уезжаю. Слава Богу, Галочка поправилась. Мы с Лизой жили чудесно, она прекрасная, я так ее полюбила, кажется, еще больше. У них песик прелестный. И Артюша славный. В начале подавлен был, а теперь отошел, как прежде стал. Устраивает глупости всякие, ходит смешно драконом. В степи я верблюдов видела. Вчера, когда утром спала, он в окно мне всунул целую акацию, будто сама вошла. Галочка уже играет. У ней друг Яшка, мальчишка восьми лет, но кажется шельма. Дорогой мой, я очень все же со-

скупилась. Теперь, как и до болезни, у них по вечерам иногда музыка, трио. Лиза на рояле, Артюша на флейте, а один такой, Начальник края над калмыками, сосед их, ходит тоже, этот на скрипке. Довольно хорошо играют. Но я бы ни за что здесь не осталась. Как это Лиза живет? Ей, правда, тоже не нравится. Но она покорилась. Терпит. Ты представь себе, совсем голое место, в степи, и никого... Калмыки эти ужасно мне не нравятся. Часто ездят к Артюше лечиться. Привозят ему овец, поросят. Нет, грязные и противные. Ах, у нас тут недавно, что случилось! Калмычка одна молодая, из богатой семьи, более просвещенная, сошлась со своим же кучером, молодым тоже калмыком. Я ее видела, знакома с ней, вроде барышни, все же. А он сумасшедший какой-то азиат, ее ревновал. Жениться все равно нельзя. Она и к нам приезжала, он катал ее верст за тридцать, это для здешних ничего. И вот на днях, уж не знаю, родители, кажется, замуж ее хотели выдать — он взял ее и зарезал. Такой ужас! Прямо горло перерезал. А она все-таки успела еще по лестнице к себе взбежать. И там кровью истекла. Он и сам тут же зарезался. Артюшу вызвали, как врача. Ну, он приехал, а они оба уже мертвые. Нет, тут все не в моем вкусе. Унылая эта степь, верблюды, миражи, калмыцкие могилы... Милый, то ли дело Италия! Я только и мечтаю к тебе вернуться. Осенью ведь едем? В сентябре? Правда?»

Глеб кончил письмо, отложил, опять улыбнулся. Ставропольские калмыки, Рим...

Вечером, на закате, он один шел межою за Салтыковым, ошмурыгивая сухую полынь. Иногда срывал горсть серебряную, растирал в руке — пах-

ло горько, терпко-очаровательно. Полевая мышка выскакивала из норы, стрекала по скошенному клеверу. Закат раскинул шелковый венецианский полог, розово-облачный, за дубами и рощами Прошина. Розовый петел гас по копенкам. Элли летела в это время на север в экспрессе московском, прочь от степей, Азии и калмыков. Глеб, глядя в веронезову глубину неба, сейчас зачешуившуюся нежно-алыми раковинами, вспоминал первый свой приезд с Элли в Венецию, в год смерти Воленьки.

IX

Прошла война дальней Азии, прошел под волнений, начались Думы и иллюминации усадеб деревенских (Прошина никак не коснувшиеся). Постреливали губернаторов и министров, интриги при Дворе свивались вокруг Императора, из своего Царского Села все попрежнему молчаливо назначавшего, молчаливо кого надо смещавшего. Россия богатела, крепла, к рубежу подходила.

Живые точки ее, в Прошине ли, Москве, Ставропольской губернии продолжали свой путь по своим начертаниям, для каждого разным, несхожим. Отец старился над Короленко, Щедриным, Диккенсом. Мать бездумно властвовала. Лиза разыгрывала Бетховенов в Башанте и домашние трио с Артюшей и Грегоровиусом. Артюша лечил калмыков и собирался перевестись под Москву.

А в Москве Глеб и Элли утвердились и возрели. Жили, любили и ссорились и мирились, росли и крепили. Рим и Флоренция, Ассизи, Венеция мелькали сиянием, и летнее Прошино тихим пристанищем. Арбат заменен Спиридоновкой. Но все тот же мир, Люси и Сандро, Майи и Погорелковы, чтения, выступления, выставки и премьеры, ресторан Прага и кафэ грека Бладзиса на бульваре, где молодые поэты разводят неврастенические излияния.

Глеб попрежнему предавался писанию. Все сильней, неотвязней. Шум, пестрота Москвы иногда утомляли. Он сбегал в Прошино — на две, на три недели.

Так и в том году было, одним из последних мирных, в феврале, близко к марту. Но еще зима, вьюги! Ко флигелю утром хоть траншею прокапывай, так заносит. И Глеб, к удовольствию матери, поселился с ней рядом, в кабинете с медвежьей шкурой, рогами и ружьями — в комнате, где в первый свой приезд останавливалась Элли.

Тут жарко топили печь, изразцы ее нежно сияли в тепле, а из северного угла тянуло прохладой. Глеб подолгу работал у небольшого стола. Пред глазами окно, все залепленное белыми снежными звездами, узорами и рисунками. В белой мути за ним, у балкона, качается в ветре куст и снежный вихрь метет его вправо и влево, куда захочет, свистом, воем наполняя окрестность. Но ведь это зима, предвесенняя метель. Это все так свое, так знакомое, близкое с детства. Как и в детстве за стеной мать, за другой дверью гостинная с пианино, фотографиями отца, среди разных инженеро- в, с ковром и диваном, с двумя печками, от которых тоже тепло.

В кабинете, при закрытых дверях, пред столом, повестью, над которой сидит так рьяно, Глеб чувствовал себя в тихом пристанище, под защитой домашних благих сил. Там мать, ложась вечером, привычно вздыхает: — «О, Боже мой, Боже мой!» Дальше, у себя в комнате, отец громко откашливается, громко чихает («причем нос его звучал как труба») — все такое ж, как в детстве и он сам не Негг ли Professor Устов, мальчик Глеб с белобрысыми залысинами? Но меж этим и тем уж легла без-

дна и теперь он взрослый, пишет, к сроку должен сдать повесть — в келье своей Глеб в подъеме, в заре, пишет и утром, и днем, и вечером. «Ты бы, ангел, на лыжах лучше прошелся», говорит отец. «Что же, так засидишься совсем. Метель, кажется, стихла, смотри — зайчишку какого подымешь».

И отец, надевая пенсне, старается разглядеть термометр за окном столовой, разобрать, откуда ветер, какая завтра будет погода — вечное развлечение деревенских жителей. «Вот, я и говорил, стало холодней, ветер с северо-востока, значит, к вечеру выведет». Мать раскладывает пасьянс. «Ну, положим, ты и вчера говорил, что нынче будет хорошая погода, а метет так, что боюсь, как бы молочник с Мордвеса не заблудился».

Глеб на лыжах сегодня не выходит. Над последними страницами сидит упорно, его несет все та же сила, что и те снежные вихри за окном и они ему не мешают, может быть, даже помогает этот белый зимний день с визгом иногда стучащего железного листа, судорогами куста за окном, воем в трубе и постукиванием ставень. Пусть там смятение снеговое, он здесь в малом углу своем, с бумагою и чернилами, с силой молодости и создания, через всю жизнь огненной чертой протянувшегося. Пусть и ночью так же грохочет метель, пусть отец и ошибся — ничего, в громе вихрей снеговых Глеб крепко спит под рогами и ружьями, а на утро встает — все иное. Вот юн, северо-восток! Тихо, мороз, солнце, бледная бирюза неба, нестерпим блеск стекляшек по снегу. Да, все кончается. Глеб утром дописывает последние строки. Вот, облегчение! Один путь окончен, что там ни написано, а написано, теперь можно на лыжах, теперь

отдых, молчание — и теперь долго не усидишь в этом Прошине?

— «Кончил работу, ангел?» говорит за обедом отец. «Кончил». Отец наливает себе и ему по рюмке. «Ну, проздравляю! Чи-ик!» И мучительно проглотив рюмку, как бы приняв какого яду, закусывает огурчиком и крикает. «Меню?» Следует обязательная перестрелка с матерью. Потом вторая рюмка, третья. «А ты бы нам почитал свое сочинение. Что ж, писал, писал, ты бы и почитал». «Сыночка устал, наверно», говорит мать, чтобы только возразить — ей и самой хотелось бы послушать, но зачем отец предлагает?

Глеб им до сих пор никогда не читал. Но тут сразу согласился.

Чтение происходило за чаем, в столовой, на вечерней заре. Отец, после дневного сна, встал несколько ранее, грузно сидел на своем месте за столом, поблескивая ровным пробормом на голове, тщательно умытый и причесанный. На лице все же легкие узоры, отпечатавшиеся от подушки. Мать за самоваром, в белой кофточке, придающей нечто снежно-прохладное. Алый отсвет из окна с балкона освещает Глебу рукопись.

Начал он смутно, покашливая и стесняясь. Каждая фраза казалась странной. Он ее принимал и слушал теперь не как Глеб, а как отец с его Щедриным, мать с Тургеневым. Наверно, все чуждо, не нравится. Конечно, из сочувствия и любви этого не скажут, все равно, он уж знает...

Отец медленно тянул с блюдечка чай, с сахаром в прикуску. Мать бледна и серьезна, быстро выпив чай, надела пенсне, стала что-то чинить.

Понемногу он успокоился. Читать стал лучше,

ровнее. В тишине этой столовой, в прозрачном, меркнувшем закате водворялась не совсем ему понятная серьезность. Отец молчаливо откусывал сахар, как в Устах еще делал; мать упорно шила, иногда вздыхая глубоко, но не томительно. Понемногу Глеб, читая, сам стал впадать в ту поэтическую реку, что несла его уже сколько времени над этой повестью, среди предвесенних бурь и метелей Прощина. Нет, он идет теперь такой, какой он есть, эта река — его река, этот звук — его звук и не с кем ему более уже считаться.

Кончив, сложил рукопись. «Вот и все», сказал глуховатым голосом. Отец неподвижно сидел. Мать отложила работу. Потом отец вынул носовой платок, внимательно и основательно отер глаза. «Да, братец ты мой, вот это все ты сильно перечувствовал... Ярко выходит, правдиво, ничего нельзя сказать». И своею теплой, мягкой рукой в веснушках, со следами ожогов взрыва в лаборатории студенческой, он погладил холодную руку Глеба.

Мать сняла пенснэ, отложила работу. Лицо ее было еще бледнее, чем когда Глеб начинал... «Это вроде Тургенева... Конечно, ты видишь жизнь возвышеннее, чем она есть...»

Глеб все складывал, все выравнивал рукопись. В горле у него слегка пересохло.

Он встал, подошел к ней. В весеннем сумраке на него глядели те же огромные, прекрасные глаза, что когда-то наклонялись в бреду скарлатины, что были с ним рядом на шароме Мокши, что за него мучились и тосковали позже. Мать обняла его, поцеловала. «Очень хорошо написал». Потом, взяв руками голову его, слегка отстранив, пристально по-

смотрела прямо в глаза. «Тебя, разумеется, не поймут. Ты не увидишь... тебя позже оценят».

Глеб что-то пробормотал. Отец снова вынул платок, вновь провел по глазам и кивнул головою: редкий случай — одобрил мать. «А теперь пройдишь, прогуляйся, пока еще не совсем темно, сиднем все эти дни просидел».

Все это верно. Глеб и послушался. Он даже взял лыжи, вышел за усадьбу с ними, за старые сторожевые березы в поле. Там всунул носки валенок в ремешки лыж и целиком, по февральскому насту, побрел прямо, все прямо.

Справа дубы Салтыковской рощи, впереди, вокруг и над ним синяя ночь, синий свод в пестром золоте звезд. Глеб шел не быстро, не тихо — ровно, твердым, возбужденным, но и радостным шагом. Вечная слава звезд и создания кипела над ним, переливалась лучами. Малое Прошино сзади. Там свое, там родное, вот там он писал и читал сейчас, и мать говорила. Да, как сказала... — Ведь это о жутком и тайном, от чего холодок пробегает по спине. «Тебя позже оценят»... — Боже, какая же тайна, все тайна и загадка, и ночь эта, и он, вот на лыжах сейчас идущий под любимыми звездами, под любимого сердца напутствием, ничтожество перед Богом и все-таки — целый мир и сейчас весь дрожит, напряжен молодостью, творчеством, силой. Идти да идти, дышать да дышать, слушая, как сухо хрюкает под ногой корочка предвесеннего снега.

И он выходит на изволок, на дорогу проезжую. Теперь можно снова снять лыжи, неторопливо тащить их за собой — путь укатан. Отсюда вся страна перед ним, все эти рощицы, поля, овраги, Поповка

внизу с серою колокольней, и хуторок Кноррера, и на Апрани занесенная снегом мельница. Глеб останавливается и оглядывает четыре страны света, четыре ветра земли русской, по которой долго еще идти, все еще идти, как и отцу и матери, Элли, Лизе, Артюшке, всем кого любит, как и тем кого не любит — к той же всевеликой, всетворящей Вечности, что произвела и возьмет.

Он назад шел медленно, мирно, волоча за собой лыжи, как бы слегка и радостно усталый. Важно гудели в вышине сторожевые березы усадьбы. Собака лаяла. Сквозь яблони садика был виден свет в доме: отец читал своего Диккенса.

1944 г.

